

Занятие №37-46.

Казачьи сказки.

Сказки – важная составляющая народного фольклора. За сказочными образами стоят различные символы, пришедшие из глубины веков. Ребенку они более понятны, чем взрослому. Сказка близка детям по мироощущению, ибо у них эмоционально-чувственное восприятие мира. Логика и рассуждения взрослых ребенку еще не понятны, а сказка кто бы мог подумать не учит напрямую. В ней есть только волшебные образы, коими ребенок наслаждается, определяя личные симпатии. В сказке есть и остается четкая граница: это – Добро, а это – Зло, этот персонаж – плохой, а этот – удовлетворительной. Это упорядочивает сложные чувства ребенка, а благополучный конец позволяет поверить в то, что позже и он сделает что-то хорошее.

Сегодня мы начнем знакомиться со сказками кубанских казаков.

Постараемся разобрать каждую сказку, понять о чем она, чему учит, от чего предостерегает. Представим, как могли бы выглядеть главные герои.

Виноградная лоза.

В одной станице жила-была девица по имени Полина. До чего ж красовитая! И гордейка такая, что свет не видывал. А во всякой гордости черту много радости.

Сколько она молодых парней сгубила, трудно и сосчитать. Казачины в летах, особенно вдовы, и те пытались счастья у нее искать. Да где там! Как только казак начинает около ее окон ходить, глаза мозолить, она ему сразу задачку неисполнимую задает. Разводит руками казак: мыслимо ли дело такой каприз сполнить. А она смеется: любишь-де — сполнишь. Посмотрим, какая твоя любовь на проверку выйдет. Взыграет в казаке ретивое. Кровь в лицо кинется. Казак — он и есть казак. Он не мужик: для него девица — крепость, ее надо завоевать или голову сложить.

И все: пропал казак.

А Полина новые каверзы придумывает. Одна хлеще другой. Откель они ей в голову приходили. Вот такая была девица: черта слопаёт да лешаком закусит и не поперхнет.

Приехал тут в станицу один пронзительный офицер. Встал на постой. Видать, ему паек хороший шел, вот и баловался с девками. Словесами их улещивал да охаживал. А девки, известное дело, глупы, как перепелки, на разговор идут.

Повстречал он случаем Полину, и язык у него к небу прилип. Хочет чтой-то сказать. Запинается. Слова свои ситцевые подрастерял. Стоит перед Полиной дурак дураком. С таким-то и разговаривать зазорно.

Засмеялась Полина.

— Эк вас проняло.

И пошла дальше.

А офицер к себе побег. Надел для пущей помпы новый мундир. И к Полине направился. Руку с сердцем предлагать. Перед ней любезностями рассыпается. Ножкой шаркает.

Полина ему и говорит:

— Что бестолочь сыпать. Мужество свое изощрить не хотите ли?

— С первым удовольствием.

— Ну, слушайте тогда задачку...

В тот же день уехал офицер. Только его и видели. Как в воду канул.

Раз встречает Полину подружка. Вместе когда-то хороводили да венками менялись. Та уж замужем давно.

Сын ее, Афоня, у подола вертится. Подружка говорит:

— И старость тебя не берет. Смотри, как я усохла.

Засмеялась Полина, собой довольна.

— Шелк не рвется, булат не сечется, красно золото не ржавеет.

— Все до поры, — говорит подруга, — вянет и красный цвет. Нечего капризы выставлять.

Наше дело — детей рожать. Пора тебе и преклониться к кому-нибудь.

— А я, — говорит Полина, — твою Афоню обожду. Покуда подрастет. К нему и преклонюся.

Глянула мать на своего сынка. И сердце обмерло. Таращится он на Полину во все глаза. Схватила она его на руки и в бега вдарилась. От Полины подальше.

А та руки в боки и в хохот.

С тех самых пор Афоня все норовил около Полининого дома играть. Смеялась Полина, вона мой жених хворостину оседлал, на мои окошки поглядывает.

Смех смехом. А время шло. Не шло — летело. Вошел Афоня в возраст. Пришла и его пора у Полины счастья спытать. Надел он чистую рубаху. Голову маслом помазал. Волосы расчесал гребешком. И к Полине объявился.

Смотрит она на Афоню. Экий казачина вымахал. Казистый да осанистый. Пригож, чего тут говорить.

Пробежала у Полины по сердцу дрожь. А с чего бы вдруг?

— Свататься, знать, пришел?

— Ага, свататься, — отвечает Афоня. — Давай свою задачу.

— А сполнишь?

— Сполню. Нет мне отступу.

— Тогда слушай, — говорит Полина. — Слыхала я от знающих людей, что произрастают на Капказе ягоды чудные, виноградарьем зовутся. Добудешь — мы с тобой тотчас оженимся.

Ушел Афоня.

И сгинул. Ни слуху о нем, ни духу.

Затомилась Полина. Первый раз в жизни такое. По ночам не спит, в постели мечется. Думает: «Рок мне такой выпал, иль я его сама себе придумала».

А тут один за другим Афонины родители сошли в могилу.

Собрались казачки в круг. Лопнуло их терпение. Стали совет держать. Кричат: «Ей-то полгоря, а нам какво?»

Была бы война, а то так, не за ломаный грош извела казаков. Обуздать ее так, чтоб лихоматом ревела».

Порешили бабы согнать Полину со станицы. И камнями побить.

Решили — так и сделали.

Идет Полина по дороге побитая, живого места на ней нету. Видит, под курганом человек лежит. И ворон над ним вьется. Подошла поближе, а это Афоня, друг ее сердечный, весь изранетый. Жизнь его, похоже, к концу подходит.

Заплакала Полина. Голосом завывала. Припала к Афоне. Впервые за многие годы жаль ее так разобрала.

Он ей и говорит:

— Сполнил я-таки твою задачку. Вытащил из-за пазухи веточку сухую.

— Если, — говорит, — эту веточку посадить, на ней ягодка сладкая вырастет.

И в беспмятство впал.

Огляделась Полина, сушь окрест стоит несусветная. В груди тоска неразмытая. Жар на нее навалился. Голова закружилась. Прилегла она рядом с Афоней, словно в бреду.

Долго ли, коротко ли времени прошло, очнулся Афоня. Над ним виноград гроздьями висит. Неподалеку родник бьет. Видит, девчушка у лозы стоит, ягоды на нитку нанизала да на шею свою вместо бус навесила.

— Ты кто такая? — спрашивает ее Афоня.

— Я не тутюшня, — отвечает девчушка. — Я зашедшая. Из далека.

— Ты здесь никого не видала? — спрашивает Афоня.

— Не-ка, не видала, — отвечает девчушка.

Привстал казак. К осени дело идет. Полынь дух свой отдает. Да такой горьковатый, что печалит сердце.

— Ты кушай ягодку, — говорит Афоня, — дюже она вкусна.

Горе – злосчастье.

Вот народился у казачки сын. Да народился, видать, в недобрый час, в минуту неталаную. Перевязывала повитуха ему пуповину — оборвала нить. Дурная примета — злосчастный ребенок будет, горемыка да бедоноша.

Заголосила мать, кинулась к гадалке, что да как — про судьбу своего ребенка узнать.

А та ей и говорит:

— Нить жизни его суровая, узловатая, опутывает, словно сетями, налегает на него тяжелой обузой. Не будет у него в жизни радости.

Поплакала мать, поплакала. А что делать? Жить-то надо.

Нарекли ребенка Кузьмою. Намааялась с ним мать, что и говорить. Пока мал был Кузьма, не понимал, что ему горькая долюшка выпала. Дите, оно и есть дите. Каждое утро хотел Кузьма с правой ноги встать, а вставал с левой. Захочет матери что-нибудь по домашности помочь, дак все наоборот выходит. Иль горшки разобьет-расколотит, иль хуже того — себя поранит. Однажды приходит он к матери весь в слезах и спрашивает, отчего у него нойка на сердце.

Залилась мать слезами:

— Зародился ты в ту звезду бесчастную, в лихую годину. Нет тебе талану на роду...

После этого случая совсем духом пал Кузьма: злая змея на сердце залегла.

Вырос он жидким да слаботельным. Говорили про него: не казачьего роду... Ну что ж, в хлебе не без ухвостья.

Терпели Кузю в станице: кто жалел, а кто и подсмеивался над ним, да не в зло. Он тож дружбы ни с кем не водил, одиночествовал. От людей прятался. Солнышко к закату потянулось, и Кузя на завалинке объявлялся. Молодой еще, а повадки стариковские заимел.

В той же станице жила дочка атамана Дарья. И личиком бела, и с очей весела. Огонь-девка, живому черту глаза колет. Отцова любимица. Вздыхал атаман: «Эх, жаль, что девка. Такой бы казак вышел». Сватов отгонял, свою дочку высоко ставил. Хотел мужа ей найти, чтоб по ней был.

Вот как-то раз проходила Дарьюшка с подружкой мимо Кузиного дома, увидела его на завалинке и запало ей что-то в душу: возьми да спроси, а это, мол, кто такой? Чтой-то раньше я его не видывала.

А подружка ей в ответ удивляется.

— Сколько разов мимо проходила и только заприметила. Да это Кузя-горедушный.

— А от чего горедушный? — спрашивает Дарьюшка.

— Кто-ить знает. Так люди меж собой гутарят. Да вона вишь сидит, развесил печаль по плечам, сам собой любится.

Разобрало Дарьюшку любопытство.

— Давай подойдем к нему, — говорит.

— Да ну, — отвечает подружка и руками замахала, — с ним тока тоску разводить.

Дарьюшка Дарьюшкой бы не была, если б на своем не настояла.

Подшли они к Кузе. А тот и глазом не ведет. Сидит горюн-горюном. Об чем-то думу думает.

— Об чем твоя печаль-забота? — спрашивает Дарьюшка.

Поднял голову Кузя. Видит, перед ним две девки стоят. В смущение вошел.

— Да вот, думаю, разбежалось мое счастье по сучкам да по веточкам.

— А что так? — допытывается Дарьюшка.

— Так рок судил. Так, знать, на роду написано.

Интересно стало Дарьюшке: никогда об этом так не думала. А подружка ее прочь тянет, говорила, мол, тебе, разведет тут скуку этот Кузя. Дарьюшка и говорит ему на прощанье:

— Приходи на посиделки, у нас весело.

— Ладно, — сказал Кузя и лицом вроде бы как просветлел.

Подружка Дарьюшки так и прыснула со смеха! Отошли подальше, она прям зашлась от хохота. Здорово, мол-де, ты над ним подшутила.

— А я не шутила вовсе, — говорит Дарьюшка и от досады брови нахмурила.

Прикусила язычок подружка, да не надолго. К вечеру вся станица знала, что Кузю-горемыку на посиделки

пригласили. Разыгрывает Дарья Кузю, всего-то дел.

Ближе к вечеру собрался молодняк на посиделки. Дарья как всегда на первом месте: и поет, и пляшет, и в игрища играет — весела да радостна. И никому невдомек, что она ждет-пождет Кузю, да так, что сердце у нее сладко замирает. И сама-то не понимает, что с ней такой-чи происходит. Наконец-то дождалась она Кузю. Идет тот и спотыкается на ровном-то месте. Молодняк присмирел. Ждут, как дальше комедь разыгрываться будет. Дарья к Кузе подошла, за руку взяла.

— Сядь, — говорит, — опочинься и ни о чем не кручинься.

— Легко сказать, — отвечает Кузя. Вздохнул горестно и присел вместе с Дарьюшкой.

— А как в народе говорят: кто в радости живет, того кручина не берет.

— Эх, Дарья-Дарья, не знаешь ты еще горя, не ухватывала тебя нойка за сердце.

И опять завздыхал Кузя. А Дарьюшка никак не угомонится.

— Что ж тебе радоваться неохота?

— От чего ж? — удивился Кузя. — Охота смертная, да участь горькая.

Парни тут дурились стали. Обидно им, что Дарьюшка Кузе такую честь оказывает.

— Гляка, гляка, как она к нему липнет.

— Вот так пара!

— А Кузя-то, кочетом себя ведет.

Обсмеяли их, обхохотали. Подхватила Дарья, взяла Кузю за руку.

— Пойдем, — говорит, — отсель.

Вздохнул Кузя:

— Вишь, злости сколько в людях.

— Эко, горе.

— То-то ж, что горе.

И пошли они. Где слово какое друг дружке скажут. А где и помолчат. Только хорошо им было вдвоем. А на прощанье договорились еще встретиться. И встречались еще. А дальше больше, друг без дружки вроде как и обойтись не могут.

Вот как-то сидят они на берегу Дона. Хорошо Кузе с Дарьюшкой. Когда с ней рядом, вроде отступает от него кручина. Взял он сухую палочку и бросил в воду. Покружила-покружила палочка и камнем на дно пошла.

Запечалился Кузя: и что ж я такой злосчастный. Заприметила это Дарьюшка. Взяла незаметно камень. И говорит:

— Смотри, и у меня потонет. И бросила в воду. Глядь, а камень поплыл. Не по себе стало Дарьюшке. А Кузя совсем омрачился.

— Эх, не бывать нам с тобою в этой жизни никогда.

Помолчала Дарьюшка, а потом и говорит:

— Взойдет солнышко и на наш двор. А ты меня сосватай.

Удивился Кузя, слов нет.

— Я не могу, — говорит.

— От чего ж?

— Если и отдадут тебя за меня, то все одно — я с тобой жить не смогу.

— От чего ж? — допытывается Дарьюшка.

— Мне будто кто-то ноги сводит и руки назад вяжет, — говорит Кузя. — Так оно выходит, что моя любовь горькая к тебе.

Досада Дарьюшку забрала.

— Иль, — говорит, — себя переможешь, иль я с тобой встречаться боле не буду. Поднялась и ушла.

Посидел Кузя на бережку, посидел. И поплелся домой. Приходит и говорит матери:

— Жениться хочу.

Мать посмотрела на него недоверчиво.

— На ком?

— На Дарье, — отвечает Кузя.

— Эх, хватил! Дочь атамана. Ты дерево по себе руби.

Уперся Кузя. Первый раз мать его таким увидела.

— Она мне в совесть, и я ей тож.

— Это она тебя надумила? Смеется она над тобой.

— Не до смеха нам...

И завздыхал Кузя горестно.

А может чо и выйдет. Пошла мать к свахе. Объяснила, что и как. Та аж рот раззявила от удивления. Мыслимо! Кузя и Дарья. И ни в какую не соглашается. Атаман характером был крутоват, скольким сватам от ворот поворот давал. Срамиться-то кому хочется.

— Да ты только проведай, — упрашивает ее мать. — Закинь удочку. От чужого стола не зазорно и повернуть. Подарков ей мать насулила. Согласилась-таки сваха.

— Ладно, — говорит, — вечером сбегая, как стемнеет, чтоб от людей стыдно не было.

Обещание свое сваха сполнила вточности. Как стемнело, пришла она к атаману. Тот уж вечерять собрался.

О том, о сем зубы заговаривала сваха, все-то духом не решалась сказать, зачем пришла.

— Давай выкладывай, зачем явилась, — говорит атаман. — А то ходишь все вокруг да около.

Помялась сваха и зачастила:

— У вас есть товар красный, а у нас купец славный.

Смекнул атаман, в чем дело. И отвечает с неохотой. Как положено:

— Был бы купец хорош, товару залеживаться не к чему. Кто таков?

— Купец-молодец Кузя.

— Кузя? Купец! Да в своем ли ты уме?

Сваха раззадорилась. Все одно — позор на свою голову накликала.

— Надо бы дочь спросить.

— Когда надо, сам спрошусь!

А тут Дарья выходит. Своевольница.

— Отдай меня за Кузю. И на колени бух.

— В совесть он тебе штоль?

— В совесть, — отвечает Дарья твердо.

— Дочка-дочка, не накормить коня сухопарого, не наделить человека бесчастного.

— Я наделю, — говорит Дарья. Атаман в гнев вошел.

— Значит, правду про вас в станице несут. Ну, погоди. Уйдешь самовольно, я с тебя и крест сниму.

Так и умелась сваха ни с чем.

Мать Кузю утешает как может. Отказ, мол, жениху не бесчестье. Жених, мол, как нищий, в один дом пришел — не удалось, пошел в другой...

Кузя ее утешения не слушает. У него думы о другом. Совсем парень в отчаянье вошел. Взял незаметно веревку и на зады пошел, там где дерево росло. Привязал он веревку к суку, встал на пенек, надел петлю на шею, простился с белым светом и с пенька сиганул. А сук возьми и обломись. Вроде как толстый сук. И дерево не гнилое. А обломился — и все тут.

— Эх ты, лютая смерть, неупросливая, неподатливая, — загоревал Кузя. — Значит, рубашка для меня еще не сшита.

Если не время умирать, то как жить, что делать? Не знает Кузя.

Поплелся Кузя к дому атамана. Вот идет он, а кубыть кто-то его в сторону уводит. Дошел, наконец, присел около ворот. Вдруг вышел сам атаман, отец Дарьин. Увидел Кузю, запенился аж, кипельный сделался.

Спрашивает с ехидцей:

— Вы сюда по делу или для легкого воздуха?

— По делу, — проямлил Кузя.

— Вы, что ж, свой антирец имеете?

— Имею, — отвечает Кузя, — с Дарьей свидеться хочу.

— Нельзя!

— Отчего ж нельзя? Я к ней со всей душой.

Атаман мясами дюже одержимый был. Лапища такая, что, увидев, страх берет. Послал он благим матом Кузю по ухабистой дорожке.

— Не был бы такой квелый, — кричит, — навалил бы я тебе вот этим батиком. Баранья твоя башка, иди отседа от греха.

Встал Кузя, всей душой горем задетый. И диву дивится: ноги его сами несут от Дарьиного дома подальше.

Через какое время приходит ему весточка от Дарьюшки. Передала ее верная подружка. Мол, ждет она своего милого дружка Кузю в полночь у дуба, и если не придет, то не увидит Дарьюшки никогда, приходили-де сваты, и отец согласие дал.

Дождлся полночи Кузя и пошел на околицу к дубу одинокому, чтобы встретиться с милой Дарьюшкой.

Кругом темень, хоть глаз коли, ничего не видать. Шел-шел, шел-шел. Вроде как из станицы вышел, собачьего бреха не слышать, а дуба все нет и нет. Назад повернул.

Сбился с дороги Кузя, зашел в какие-то кущи непролазные. Знать, так рок судил, так суждено. И пошел Кузя свою смертыньку искать, чтоб прибрала она его поскорее.

А Дарья к полночи поближе с постели встала, из хаты вышла, ни едина половица не скрипнула. Дверь затворила тихонечко. На конюшню зашла, своего любимого Воронка оседлала, тряпками копыта обмотала. Задами коня вывела. И к одинокому дубу направилась.

На обусловленном месте ждет-пождет милого дружка. Ан-нет Кузи. Уж звезды блекнуть стали, а Кузи все нет.

Радость у Дарьи на убыль пошла. Думки всякие одолели. Не может быть такого, чтоб Кузя от нее отказался.

Видать, от горя попал в беду.

«Домой мне все одно возврату нету, поеду-ка я Кузю искать, из беды его, родного, выручать», — решила Дарья, и поехала куда глаза глядят.

В полдень видит Дарья в мареве, каменная девка чикиляет. «Може, — думает, — она что про Кузю знает».

Догнала Дарья каменную девку, о Кузе спрашивает. Приподняла каменная девка каменные веки: храбра казачка, не убоилась ее и говорит:

— Окажи услугу. Надои у меня каменного молока, тогда скажу.

Удивилась Дарья: вот так задача. У девки! Да еще каменной! Надоить каменного молока! Где это слыхано?

Слезла Дарья с коня. Обошла каменную девку вокруг: не знает как к ней подступиться. А потом была не была!

Ухватила за каменные титьки и давай туды-сюды тягать. Не поддаются титьки, словом, каменные они.

Ободрала Дарья руки в кровь. Вдруг видит: чудо! Брызнула струйка серая из одной титьки, упала на землю и превратилась в камень. Брызнула струйка из другой титьки, тож в камень превратилась. И пошло дело.

Каменная девка только успеваает поворачиваться. Всю землю вокруг камнями засыпала.

— Ну, будя с тебя, — говорит каменная девка, — видать, ты под счастливой планидой родилась.

А Дарья в ответ:

— Услуга за услугу.

— Кузя твой в обратной стороне, — говорит каменная девка. — Вяжет его Горе-Злосчастие по рукам и ногам и подале от тебя уводит.

— Какое Горе-Злосчастие? — забеспокоилась Дарья. — Я ни разу его не видала.

— Ну, это не мудрено: довольно взглянуть на Кузю через правое ухо твоего коня.

Обрадовалась Дарьюшка, хотела каменную девку приобнять, да та опять зачихиляла по своим делам.

Теперь у Дарьюшки задача: Кузю-горемычного отыскать. Поворотила она коня на обратный путь.

Долго ли, коротко ли, нагоняет Дарьюшка Кузю. Идет он пешки, спотыкаясь, горемилый ее. Слезла Дарья с коня и посмотрела в его правое ухо. Батюшки мои! Свят-свят! Что она там увидела.

Горе-Злосчастие тонешенько, чернешенько, голова у него малым-малешенька, с наперсточек будет, туловище не спознать с соломиной, лычком связанное, подпоясанное, мочалами ноги изопутались.

Бежит оно впереди Кузи и чертит что-то на дороге: судьбу его изменяет. То кругами вокруг него ходит:

темнеет от этого у Кузи в глазах; то камень ему под ноги катнет — спотыкается Кузя; то на него запрыгнет,

сядет на шею — согнется Кузя в три погибели; то к самому сердцу припадет — застонет Кузя, закручинится...

Хочет назад поворотить, а Горе-Злосчастие ему не дает.

Захолонуло сердце у Дарьюшки, на такое гляючи. «Ну, — думает, — погодь, мерзавка ты, эдакая, расправлюсь я с тобой».

И поехала за ними вслед, чтоб только из виду не потерять.

На перекрестке дорог, у бел-горюч камня остановился Кузя, прилег под кустиком и вроде бы приснул.

Глянула Дарья через правое ухо коня на своего бедоношу милого. И видит: забралось Горе-Злосчастие ему на грудь да чтой-то нашептывает. Вздрагивает Кузя во сне, душа его криком кричит, стонет, мечется.

Призадумалась Дарьюшка, как ей Кузю от Горя-Злосчастия освободить. И хлоп — придумала! Подошла она поближе к Кузе, расстелила тряпочку, приготовила нитку с иголкой. И говорит:

— Горе-Злосчастие, покажись-объявись.

А то молчок, затаилось. Трусливое, видать, это самое Горе-Злосчастие.

Замечает Дарья: успокоился Кузя, заснул глубоким сном.

Что делать? Чем бы Горе-Злосчастие замануть? Выплела Дарьюшка из косы ленту, такую красивую. И говорит:

— Хошь, ленту подарю?

И положила ее на траву около себя. Глядь, исчезла лента.

— Ну покажись-объявись, — просит Дарья. А Горе-Злосчастие — ни гу-гу. Сняла Дарья колечко.

— Хошь, перстенок подарю, тока объявись.

Раз! И Горе-Злосчастие из рук перстенок вырвало.

И хихикает, злорадствует.

Расстроилась Дарья, дарить больше нечего. Схватила за голову. Ба! Еще платок остался. Сняла платок, расстелила на траве, а сама за один край крепко его ухватила.

— Хочешь, говорит, — платок подарю, не простой, узорнотканый, тока объявись, очень тебя прошу.

Горе-Злосчастие хватъ платок.

А Дарья его держит.

Горе-Злосчастие на себя его тянет.

А Дарья на себя.

— Отдай платок! — кричит Горе-Злосчастие.

— Не отдам, — говорит Дарья. — Ни за что не отдам. Порвем платок. Какая тебе польза будет.

Отпустило Горе-Злосчастие платок и спрашивает:

— Тебе каким манером показаться?

— А каким ты можешь?

— Дык, я в любом виде могу объявиться.

— Ды не сможешь.

— А вот и смогу!

— Ды не сможешь!

— Смогу!

— Завейся тогда веревочкой.

Глядь, веревочка завитая на тряпочке лежит. Схватила Дарья веревочку. Завязала в три узла. В тряпочку завернула. И зашила.

Ругается Горе-Злосчастие, грозитя страшными карами.

А Дарье одна дума: куда эту треклятую тряпицу деть. Сердце заходится, в висках стучит. Неужель удалось Горе-Злосчастие провести.

Видит, бел-горюч камень у дороги лежит. Еле-еле отвортила Дарьюшка его, бросила под него тряпицу с Горем-Злосчастием. Ух! Дух бы надо перевести. Глядь, а камень покраснел, как маков цвет, и развалился пополам.

Схватила Дарья тряпицу, подбежала к дубу столетнему и кинула ее в дупло. Закачался дуб, затрещал, вот-вот упадет. Вытащила Дарья тряпицу из дупла. Побежала к Дону и бросила ее подале в воду.

— Поразмыкай Горе-Злосчастие, Дон ты наш, батюшка!

И на колени упала.

Пошло Горе-Злосчастие камнем на дно. Забурлила вода. Застился туманом Дон. Вышло тут солнышко из-за

туч, подул ветерок, развеял туман. И успокоилась река. Приняла, зная, Горе-Злосчастие на себя. Поклонилась Дарья Дону-батюшке. Полегчало ей на душе. Справилась-таки она с Горем-Злосчастием. Пошла к своему Кузе милому. А тот спит себе, разметался. Хорошо ему, видеть, сладко спится.

Умаялась Дарья. В сон ее потянуло. И прилегла она рядом с Кузей.

Сквозь сон чувствует Дарьюшка, целует ее кто-то. Глаза открыла, а это Кузя ее жарко обнимает.

— Вставай, — говорит, заждался я тебя.

Да голос такой уверенный, диву даешься.

Глядит Дарья на него во все глаза. Сила в Кузе большая. Откуль?

А тот кудрями потрянул. (Сроду у него кудри-то не вились.) И говорит:

— Вставай, лебедушка. Нам в станицу засветло надо попасть.

Встала Дарья. Кузей любит: ее рук дело. А Кузя коня споймал, вскочил в седло. Опять Дарье удивление: вот тебе и мешковатый Кузя, вот тебе и бедоноша.

Кузя подхватил ее наперед себя и поехали. Народ на улицу высыпал. И атаман со двора вышел. Видит, Дарьюшка едет. А рядом с ней казак. Молодцеватый. Как влитой в седле сидит. Ну, Дарья, ну и девка! Нашла, зная, по себе муженька. Да как песню играют. Как красиво выводят. Подъехали они поближе. Да не как это Кузя! Ах, так раз так! Кузя — он и есть. Досада взяла атамана, батиком, как шашкой, заиграл. Спрашивает:

— Это ты никак, Кузя?

— Нет, — отвечает казак, — не Кузя, а Кузьма, прошу любить и жаловать.

Остепенился атаман, народ на него смотрит.

— Ну, если Кузьма, тогда засылай сватов.

Змея и рыбак.

Жили по соседству двое рыбаков. Ловили они на Море рыбу, продавали, а потом нет рыбы и нет, а жить-то надо. Ну, жены им и гутарят:

- Пойдите, наймитесь в работники.

Послухались они жен и пошли работу искать. День они ходили, другой и третий. Надоело ходить, а работы нет. Искали-искали, так и не нашли. Пришли они в один хутор, переночевали и ушли. Идут они по степу, день жаркий, пить захотелось. Видят они речку, подошли, напились и дальше пошли. Солнце на полудне было. Устали они и есть захотели.

- Устал я, дальше идти не могу, - гутарит один. – Давай отдохнем.

Другой ему отвечает:

- Ну, ты отдохни, а я пойду в хутор хлеба просить. Пошел в хутор один рыбак просить, а другой остался.

Видит он камень и сел на него. А под камнем, значит, змея лежит. Он и прижал ее. Сидит и слышит: из-под камня кто-то гутарит:

- Отпусти меня, рыбак.

Мужик пожалел змею. Встал, поднял камень, змея выползла - и на шею ему. Хотела кусать его, а он просит:

- Что же ты, змея? Люди за добро добром платят, а ты злом хочешь платить за добро? Не кусай меня.

Тогда сползла змея на землю и гутарит:

- Пойдем, мужик, кого встренем – спросим: чем за добро платят.

Согласился мужик, и пошли они вдвоих. Идут, а им навстречу бык. Рыбак спрашивает:

- Скажи нам, чем люди платят за добро?

Бык отвечает:

- Злом платят за добро люди. Я своему хозяину землю пашу, и всю посею, и воды навожу. Время придет - хозяин зарежет меня, мясо сварит, шкуру снимет, расстелет и по мне ходить будет.

Змея и гутарит:

- Ну давай, рыбак, я тебя укушу.

- Нет, змея, пойдем дальше.

Идут они и встречают коня. Рыбак спрашивает:

- Скажи нам, конь, чем люди за добро платят? Поспорили мы со змеем: я гутарю - люди добром за добро платят, а змея гутарит, что за добро люди платят злом.

Конь послушал-послушал да и отвечает:

- Я вот двадцать лет работал на хозяина, стар стал, а он меня не кормит да грозит зарезать и шкуру содрать. Нет, злом за добро люди платят.

Змея гутарит:

- Вот слышишь, рыбак, что конь сказал? Пойдем, я тебя укушу.

- Нет, змея, пойдем и в третий раз спросим.

Идут они, а навстречу им ишек. Они и спрашивают его:

- Скажи, ишек, чем люди за добро платят?

Ишек им отвечает:

- Злом за добро платят.

Ну, рыбак и гутарит змее:

- Кусай теперича меня.

А змея ему отвечает:

- Поверю тебе, рыбак. Буду платить тебе добром за твое добро.

Привела его змея до того камня, залезла под камень, дала мужику немного золота и наказала ему:

- Приходи до меня каждый раз, как деньги нужны будут.

Взял золото рыбак и ушел. С того золота стал жить, работу забросил. Прожил золото рыбак и идет до змеи, а змея еще дала денег. И эти деньги прожил он и в третий раз идет до змеи. Змея денег дала ему. Пошел рыбак и думает: «Чего это она мне помалу дает?»

Ну, прожил он эти деньги и идет до змеи. Идет и думает про себя: «Чего это она дает помалу, пойду я до нее и убью, да все деньги заберу. Будет у меня много золота и заживу хорошо». Подумал он, а змея-то слыхала его мысли.

Пришел рыбак до змеи, а та его укусила. Рыбак и помер.

Иванов Сон.

Жил дед с бабкой и прижили они себе сына. Сын вырос, стало ему лет пятнадцать. Звали мальчика Ваней. Вот встает один раз отец Вани рано утром и собирается на охоту, а жене приказывает:

- Сготовишь обед, а сынок принесет.

Она ему ответила:

- Ладно!

Уехал он на охоту, а старуха принялась обед готовить. Наготовила кушать и гитарит сыну:

- Сынок! Понеси отцу кушать.

А сын отвечает:

- Ой, мама, как хорошо я спал и сон хороший видел. Ой, хороший!

- Скажи, сынок.

- Нет, не скажу.

- Как же, сынок, матери не скажешь?

- Нет, не скажу!

Просила-просила его мать, так он ей и не сказал свой сон. Она взяла хворостину и побила его. Сын взял обед да и пошел с ревом до отца. Приходит. Отец спрашивает:

- Что ты, сынок, плачешь?

- Меня маманя побила.

- А за что она тебя побила?

- Я спал и сон хороший видал. Она просила сказать про сон, а я ей не сказал. Вот она меня и побила.

- Ну, мне, сынок, скажи свой сон.

- Нет, не скажу.

- Не скажешь?

- Нет!

Обиделся отец на сына и побил его. Рассердился сын на отца и мать и пошел в степ. Идет и плачет, а навстречу ему черкезенин-мухаджир идет. Подошел до Ивана, спрашивает:

- Чего ты, мальчик, плачешь?

- Я спал и видел сон хороший, - гитарит Ваня. - Мама спрашивала, а я не сказал. Она побила меня. Пришел до отца и ему не сказал, и он меня побил; вот я и плачу.

Тут и черкезенин стал спрашивать:

- Матери с отцом не сказал, скажи мне...

- Матери с отцом не сказал, а тебе-то и подавно не скажу.

- Не скажешь?!

- Нет, не скажу.

Черкезенин бился-бился, а мальчик так и не сказал. Взял черкезенин плетку и больно побил Ивана.

Пошел мальчик путем-дорогою. Идет и плачет. Шел он, шел и пришел до моря. Стоит Иван на берегу и думает, как бы ему переехать на другую сторону, а денег-то у него нет. Глядит - корабель собирается отходить в море. Забрался Иван на корабель, спрятался на палубе среди канатов. Долго плыл корабель ну и приплыл на другой берег, в другое царство. Утром рано стали с корабеля разгружаться. Он с народом сошел на берег и думает: «Куда я теперь пойду?» Думал-думал и пошел в город.

Время идет, а мальчик растет. Вот идет Ваня по городу. Ну, идет и видит - стоит лавка. Подошел и сел подле. Сидит, греется на солнышке. Сидит он, а тут мимо него идет стража. Начальник стражи спрашивает: - Кто такой?

Ваня молчит. Взяла его стража и отвела до царя на расправу. Приводят до царя. Царь спрашивает:

- Откуда ты и кто ты?

Ваня рассказал:

- Я из Расеи. Жил с матерью. Раз проснулся я, а мать гитарит мне: «Сынок, пойди на степ, отнеси отцу кушать». А я ей отвечаю: «Ой, мама, какой я хороший сон видел». Она просит: «Расскажи, сынок». Я ей не сказал своего сна. Она меня побила. Понес я отцу кушать. Отец меня спрашивает: «Что ты, сынок, плачешь?» Я ему отвечаю: «Мама побила». А он пытается меня: «За что тебя мама побила?». Я ему сказал, что видел хороший сон, а матери не сказал. Отец стал просить: «Скажи свой сон мне, сынок!» Я не сказал. Он меня кнутом побил. Я ушел. Иду дорогой, а навстречу мне черкезенин-мухаджир и спрашивает: «Мальчик, чего плачешь?» Я сказал ему, чего плачу. Он тоже стал просить сказать ему свой сон. Я ему не сказал. Черкезенин побил меня больно плеткой. Пошел я на море, сел в корабель и уехал в другое царство. Вот я рано утром сегодня приехал на корабеле в твое царство, царь.

Услыхал царь про сон Вани, тут и прицепился:

- Скажи, что ты во сне видел?

А Ваня отвечает:

- А я не скажу.

- Смотри, я могу тебя казнить. Я же царь.

- Ну что же, царь, а я не скажу.

- Так царю и не скажешь?

- Нет.

Разобиделся царь на Ваню, призвал двух солдат и приказ дал.

- Возьмите мальчика, отведите за город и казните.

Солдаты взяли Ваню, повели на казнь. Проводят его мимо дворца царской дочери. Увидала она Ваню и стучит в окно солдатам. Солдаты остановились. Открыла царская дочь окно и спросила:

- Куда ведете?

- Царь повелел его казнить.

Она им приказывает:

- Оставьте его здесь, а во дворе есть старая собака, убейте ее. Когда убьете, вымарайте его рубашку в крови и отнесите моему отцу.

Так солдаты и сделали. Взяли собаку, зарезали ее за городом, рубашку Вани вымарали в крови и отнесли царю, а мальчика оставили у царской дочери.

Время идет и Ваня растет. Вырос он и стал красивым бурлаком. Через некоторое время другой царь объявляет войну тому царю, что приказал Ваню казнить, присылает он палку и пишет: «Отгадай, какой конец палки тоньше и легче. Не отгадаешь - будем воевать». Прочитал царь письмо и задумался. Думал-думал, ничего не надумал. Собрал синод да и прочитал это письмо синоду. Синод думал-думал, какой конец палки тоньше и легче, а какой толще и тяжелее, и палку ту глядели, из рук в руки передавали, да так и не отгадали.

Распустил царь синод. Остался один в печали и думает: «Ни за что ни про что воевать надо». А вечером приходит до царя дочь. Царь гутарит:

- Печален я, дочка.

- Какая тебе печаль, батюшка?

- Прислал царь английской палку и просит отгадать, какой конец тоньше. Синод думал и палку ту глядели, а отгадать так и не отгадали.

- А что же теперь будет?

- Война. Так в письме царя англичского сказано: «Не отгадаешь - войной пойду».

- А что будет, если найдется человек и отгадает?

- Если, дочь, тот человек стар - богатством награжу. Если молодой - тебя за него замуж отдам.

- Хорошо, отец. Наутро я приду и скажу тебе.

Ушла дочь царя к себе. Пришла и все рассказала Ване. А он ей гутарит:

- Пускай в котел воды нальют и бросят любым концом в воду. Какой конец сверху сначала покажется, тот самый тонкий и легкий будет.

Наутро пришла царская дочь до отца и сказала ему, как можно угадать тонкий конец палки. Царь так и сделал. Отгадал он и послал ответ английскому царю. Английский царь тогда прислал три верблюдицы и письмо: «Одна верблюдица принесла двух верблюжат. Они выросли и стали похожими на мать: рост в рост, масть в масть, и не узнаешь, которая из трех мать». И пишет английский царь: «Угадай, которая из них мать? А не угадаешь - войной на тебя пойду!»

Прочитал царь письмо, поглядел на верблюдиц и не узнал, которая же из трех мать. Собрал царь синод, прочел письмо. Отгадывал синод неделю, другую и третью, так и не отгадал задачу.

Приходит до царя его дочка, а царь ей гутарит:

- Печален я, дочка. Прислал английской царь верблюдиц и пишет, чтоб я узнал, которая из трех мать. Не отгадаю - будет война.

Дочка гутарит:

- Не печалься. Я наутро приду и скажу, как отгадать.

Пришла она к себе, позвала Ваню и рассказала ему. А он гутарит:

- Вот глупые! Целый синод гадал и не отгадал. Пусть они посадят всех верблюдиц на землю и ударят их сразу палками. Которые быстро вскочат на ноги - это дети, а мать старая - не так скоро и поднимется.

Наутро пришла царская дочь и рассказала ему, как нужно отгадать. Так царь и сделал. Узнал царь мать верблюдох и отписал английскому царю.

Английский царь присылает письмо и пишет: «Вашего жеребца случить с английской кобылой, что будет? Какая отгадка? Отгадаешь - воевать не будем, а не отгадаешь - воевать будем».

Собрал царь синод. Синод думал-думал и ничего не надумал. Три недели отгадывали, так и не отгадали. Вечером приходит до царя дочь, а царь совсем опечалился. Дочка спрашивает:

- Что ты, царь-батюшка, опечалился?

Он отвечает:

- Англицкий царь прислал письмо и пишет: «Вашего жеребца случить с английской кобылой, что будет? Какая отгадка?» Отгадаю - воевать не будем, а не отгадаю - воевать будем. Вот я и сижу, дочка, да и думаю: «Не отгадаем - война будет».

- Не горюй, утром я тебе расскажу, как быть.

Пришла к себе царская дочь, призвала Ваню, рассказала все как есть. А он ей гутарит:

- Теперь мне нужно до царя самому идти.

Пошла она до царя утром и гутарит:

- Отец, две беды отгадали и третью отгадаем.

- А кто отгадывал-то, дочка?

- Да тот Ванюша из Расеи, что тебе про свой сон не стал гутарить.

- Он жив?

- Ну да. Это он все отгадал, третью загадку тоже отгадает, только ему надо самому придти.

- Ладно, пусть идет.

Утром приходит Иван до царя. Поздоровкался с ним и гутарит:

- Две беды отгадали и третью отгадаем. Дай мне, царь-батюшка, сорок солдат верховых, посади на корабель и отправь к английскому царю, а я уже все сделаю.

Царь приказал сделать все, что Иван гутарит, поехал Ваня с солдатами к английскому царю. Приехал он в английскую страну и гутарит своим солдатам:

- Всех волкох собирайте по лесам и гоните через город.

Стали солдаты выгонять всех волкох из лесох и гнать через город. Народ взволновался: «Откуда-то приехали люди и всех волкох гонят». Ну, заявили об этом английскому царю. Царь послал своих слуг спросить, кто старший этого дела, и привести его.

Пошли слуги, нашли Ваню и позвали до царя. Пришел он до царя. Царь спрашивает:

- Откуда ты?

- Из Расеи, - отвечает Иван.

- Почему гонишь из моих лесох через город волкох?

- У моего царя много овец, а стеречь их некому. Вот мы и забираем всех волкох, чтобы они караулили наших барашкох.

Царь гутарит ему:

- Наверно, парень, ты дурной...

А Иван ему отвечает:

- Может, я и дурной, а разве нельзя барашкох караулить волкам?

- Нельзя.

- А как же ты прислал письмо моему царю и пишешь, чтобы нашего жеребца случить с английской кобылой, а кобылу не прислал. Что же из этого будет?

- Ничего.

- Значит, нельзя этого сделать?

- Нельзя, - отвечает английский царь.

А потом спрашивает:

- А первые две загадки кто отгадал?

- Я.

Царь ему сказал:

- Молодец!

И за это отдал свою дочь за Ваню. Попировали, Ваня и поехал до своего царя с невестой. Приехал. На радости царь гутарит:

- И я за тебя отдам свою дочь.

Стали они гулять. Царь сидит со своей царицей вместе, а Ваня сидит с двумя царскими дочерьми. Вот царь и спрашивает:

- Ну, а теперь, зятек, скажи мне свой сон.

- Скажу. Я во сне видел, что по левую мою руку светит солнце, по правую сторону светит месяц. Вот сижу я, а по левую и правую руку сидят две царские дочери, а я от них отказался. Вот все и сбылось. Два царя отдали за меня дочерей своих, а я от них отказываюсь.

- Отчего? - спрашивает царь.

- Да не хочу я на царских дочерях жениться.

Ну, тут царь стал просить Ивана жениться на его дочери. Думал-думал Иван да и гутарит:

- Ну, раз просишь, можно, пожалуй, жениться.

Женился Ваня на царской дочери, а дочь английского царя отослал до отца.

Стали Иван с женою жить-поживать и добра наживать. Я у них был, мед-пиво пил.

Казак и судьбина.

Жил-был Казак. Скучно ему дома сидеть. Томно. Вот решил он белый свет поглядеть да себя показать.

Оседлал коня и поехал.

Ехал-ехал. Видит, на перекрестке трех дорог кабак стоит. «Зайду, — думает, — передохну перед дальней дорогой». Сел за стол.

Поел-попил. Видит, к нему старик подсаживается. Посмотрел на него Казак, вроде как где-то видались. И спрашивает:

— Не знакомцы ли мы с тобой? А старик отвечает:

— Я — Судьбина твоя.

Смотрит Казак на Судьбину свою, разглядывает. Седой, старостью скрюченный... На лице шрамов не счесть. Из мутных глаз слезы точатся. Заныло сердце у Казака. Страшно стало.

Судьбина усмехается:

— Вишь, — говорит, — Казачок, что тебя впереди ждет. Мой тебе совет — возвращайся домой, а то плохо тебе будет. Много горя примешь.

Расстались они. Поехал Казак домой. Растревожил душу Судьбина. «Ох, — говорит, — не будет мне покоя дома. Должен я знать, что меня в этой жизни ожидает». Развернул коня и поехал куда глаза глядят, лишь бы от дома подальше.

Много времени с тех пор прошло. Состарился Казак, чувствует, что жизнь в конце подходит. «Заеду, — думает, — в тот кабак, где Судьбину встретил». Через порог переступил, глядь, а тот уже в кабачке сидит, ждет-поджидает.

Выпили они за встречу.

— Ну что, Казачок, — говорит Судьбина, — понюхал, почем фунт лиха?

Казак головой кивает, соглашается.

— Да, — говорит, — твоя правда была, много горя принял.

— Не жалеешь, что меня не послушал?

— Нет, — говорит Казак, — не жалею, что ж о прожитой жизни жалковать. И вздохнул. А Судьбина дальше пытается.

— А если б, — говорит, заново жизнь повернуть, согласился бы? Казак подумал.

— Нет, — говорит, — не согласился бы. Моя жизнь мной прожита.

И выпили они по второй рюмочке.

Дивятся на них люди, думают, что родные братья беседу ведут, до того похожи. Посмотрел Казак на Судьбину внимательно и усмехнулся. Судьбине это не по нраву.

— Ты, — говорит, — что усмехаешься. Если есть что на душе, скажи, не держи.

— Глаза у тебя, — говорит Казак, — светом полны, не то что давеча. Вот я и смекаю, знать, и мне в этой жизни удача была.

Помолчал Судьбина и говорит:

— На этот раз правда твоя, Казак. Жил ты по совести.

И выпили они по третьей рюмочке.

Коза и кума лиса.

Вот, значит, паслась в лесу коза, паслась она целый день. Наелась коза сочной травы, а напиться воды негде. В это время бежит кума-лиса, видит козу - и до ней:

- Здравствуй, коза, - гутарит лиса.

- Здравствуй, кумушка. Куда ты побегла? - коза-то спрашивает лису.

- Да была в гостях у медведя, а он угостил свеженинкой, вот я и бегу теперича домонь. А ты, коза, я вижу, попаслась хорошо, молока-то у тебя в выме много.

- Да, кумушка, попаслась хорошо.

- А козляточки-то У тебя дома?

- Нет, кумушка, у меня козляточек, одна я.

- Одна?

- Одна, кумушка.

- Ну, тогда, коза, пойдем путь-дорогой да погутарим.

- Пойдем, кумушка.

Вот, значит, коза и лиса пошли. Шли они шли по лесу и пить им захотелось, а навстречу им ни одного озера, ни одного болотца, ни речки. Лужицы и той не нашли они в лесу. Идут они и стали из лесу выходить, а тут и копонь стоит. Подошли они под копонь, поглядели, а напиться-то нечем. Обошли они, кругом, в копонь заглянули: и вода не так-то бы далеко была, а пить нельзя. Тогда лиса гутарит:

- Нашли копонь, а напиться не можем. Тебе, коза, как бы вода нужна была, я-то могу потерпеть до дому, а ты, бедная, сколько травы пережевала, чай, и в роте все посохло?!

- Да, кумушка, все в горле пересохло! Аж язык потрескался, так пить хочу!

Лиса смекнула все – коза-то глупая – и гутарит:

- Я тебе, козушка, могла бы советом угодить, да боюсь - не поверишь ты, мне, скажешь, корысть я имею да еще и отругаешь.

- Что это ты, Кумушка, такую напраслину гутаришь про меня? За добрый совет разве можно ругать?

- Я, козушка, свеженинки поела, у меня в роте соку много, мне вода не надобна. А жалеючи тебя скажу: прянем в копонь, напьемся, вылезем и пойдем по лесу, будем гутарить друг с дружкой. Давно мне не доводилось с вашей сестрой гутарить.

- Ну чего же, лисушка, давай да и прянем.

Уговорились они и прыгнули в копонь. Напились. Лиса-то больше козы пила. Напились они, а вылезти не могут. Лиса поглядела вверх из копоня, примерила глазом расстояние и гутарит:

- Моя козочка, будь у тебя умная головушка, ты бы вздумала, что и я вздумала!

- А чегой-то ты, кумушка, вздумала? - спрашивает коза.

- А вот чего: встань на задние ноги, подыми передние вверх, обопрись о сруб, а я по тебе выйду, сяду сверху и тебя за рога буду рятовать наверх.

Стала коза на задние ноги, подняла голову вверх, а лиса и вылезла из копоня и побегла. Стоит так-то коза и ждет. Ждала она, ждала и закричала:

- Мэ-мэ-мэ!

На ту пору медведь шел. Идет он и слышит: где-то коза кричит. Поглядел кругом, увидел копонь. Коза в это время кричать стала. Подошел до копоня, глядит в него – а там Коза. Он ее спрашивает:

- Чего это ты, коза, в копоне делаешь?

- Воду пила,- отвечает коза,- а вылезти не могу, пособи мне, куманек, а то я намокла вся.

- А зачем прыгнула, раз не можешь выттить из копоня?

- Лиса меня уговорила. Сказала, что свеженинкой ты ее угостил, пить ей не охота, а мне хотелось, вот она и совет дала прыгнуть в копонь. Напилась она, сказала: «Выйду из копоня, коза, тебя буду рятовать».

Жалко стало медведю глупую козу, он ее рятовать стал. Поднял козу из копоня медведь и гутарит:

- Ну, иди домонь, хозяин тебя ждет. А я пойду, коза, ту лису искать: она у меня покушала мясо.

Коза пошла домонь, а медведь побег лису искать. Обсохла коза и есть ей захотелось. Смеркаться стало.

Коза домонь не пошла, завернула к лесу и думает: «Поем еще травки и домонь пойду. Старик подождет, делать ему нечего».

Подумала и к лесу идет, а в это время бирюк ей навстречу. Увидал он козу и съел ее, глупую.

Лиса Девица и Котофей Иванович.

В одном лесу, в нашем русском, сибирском, жила Лисица-девица. Вот однажды собралась Лисица-девица пойти в лес погулять, а навстречу ей идет новый гость - Котофей Иванович, бурмистер брянских лесох. В этом лесу, где жила Лисица-девица, всяких зверей хватало, а вот Котофея Ивановича не бывало. Встречается ему Лисица-девица, он ей и гутарит:

- Здравствуй, Лисица-девица!

- Здравствуй, Котофей Иванович! Издалека ты до нас прибыл, Котофей Иванович?

- Я прибыл из брянских лесох быть у вас бурмистером-царем. А вы, Лисица-девица, не замужняя жена?

- Да нет, Котофей Иванович, я еще девица.

- А не пойдешь ли за меня замуж?

Тут Лисица-девица и думает: «Как же отказаться? Я же буду бурмистерской женой». Вот она и отвечает ему:

- Пойду, Котофей Иванович.

Тут они поженились. Лисица-девица повела его в свою хатку. Привела, положила спать как молодого мужа, а сама пошла в станицу на добычу. Идет она, а навстречу ей Левон Иванович-бирюк.

- Здравствуй, Лисица-девица!

- Какая я тебе девица? Я замужняя жена!

- О! А за кого ты вышла?

- Да за Котофея Ивановича.

- За кого?

- Да за Котофея Ивановича, что прибыл до нас из брянских лесох, что будет у нас бурмистером-царем.

- Бурмистером-царем?!

- Да! А ты не слыхал? Вот теперь я его жена.

- А как бы его поглядеть?

А Лисица-бурмистерша отвечает:

- Это дорого стоит, Левон Иванович. Надо на поклон принести барана, вот тогда и посмотришь:

- Ладно, Лисица-бурмистерша.

Левон Иванович метнулся в станицу за бараном. Идет Лисица-бурмистерша дальше. Встречается ей Медведь

- Михаил Иванович.

- Здравствуй, Лисица-девица.

- Какая я тебе девица? Я замужняя жена.

- Ох! А за кого ты вышла замуж?

- Да за Котофея Ивановича, что прибыл из брянских лесох до нас, чтоб быть бурмистером-царем.

- Бурмистером-царем?!

- Да! А ты не слыхал?! Вот теперь я его жена!

- А как бы его поглядеть?

А Лисица-бурмистерша отвечает:

- Это дорого стоит, Михаил Иванович. Надо на поклон принести вола.

- Это можно, Лисица-бурмистерша.

Михаил Иванович пошел за волом. А Лисица видит, что встретила на дороге двух дуракох, пошла отдыхать домонь. Пришла, легла и лежит с молодым мужем.

Идет по дороге в станицу Левон Иванович, встречает Михаила Ивановича и шумит ему:

- Здравствуй, брат Михайло Иванович!

- Здорово! Здорово, Левон Иванович. Куда идешь?

- Да за бараном, чтобы на поклон пойтить к новому бурмистеру-царю.

- А я за волом иду.

- Пойдем до станицы вместе, Михайло Иванович. Пошли они. Дошли до станицы. Левон Иванович метнул в кошару, а Михайло Иванович на баз завернул до волох.

Ну, приносят они добычу: Левон Иванович - барана, а Михайло Иванович - вола. Сложили добычу вместе и ведут спор: кому первому пойтить на поклон к бурмистеру-царю. Левон Иванович гутарит:

- Тебе надо, Михайло Иванович: ты старше.

- Нет, тебе, Левон Иванович: ты помоложе.

Спорят они. В то время на их счастье является косой заяц.

- Эй, ты, косоглазый, иди-ка сюда, - шумят они оба.

Заяц подбег до них, стал на задние лапки, ушами длинными прядает. Перепугался он и спрашивает:

- Что, братья, прикажете?

Левон Иванович приказ дает:

- Ну-ка, черт косоглазый, смотайся на всю прыть до Лисицы-бурмистерши да скажи: «Михайло Иванович кланяется волу, а Левон Иванович кланяется бараном бурмистеру-царю».

Вот заяц и мотнулся до Лисицы-бурмистерши. Добег до лисиной хатки, встал на задние лапки, а передними стучит в дверь.

- Эй, выходи, Лисица-девица.

Вышла Лиса и гутарит:

- Ах ты, черт косоглазый! Невежа! Да какая я тебе девица? Я замужняя жена! Муж мой бурмистер наших лесох!

Услыхал заяц и оробел. Лиса глядит на него да и спрашивает:

- Зачем, косоглазый, прибег?

- Меня Михайло Иванович да Левон Иванович послали сказать тебе, что принесли они вола и барана на поклон бурмистеру-царю.

Сказал заяц и подался в лес до Левона Ивановича и Михайла Ивановича. Прибег и доложил, что бурмистеру-царю о том объявлено.

Стоят они втроем и совет держат друг с другом, кому куда схорониться. Михайлу Ивановичу хорошо: он и на дерево может залезть. Вот он и гутарит:

- Я залезу на дерево.

А Левону Ивановичу плохо: он залезть на дерево не может. Тогда Левон Иванович гутарит Михайлу Ивановичу:

- Брат родной, я лягу, а ты меня загреби листьями, а сам потом на дерево залезешь, а косой отойдет и под елочкой где-нибудь схоронится.

Михайло Иванович зарыл Левона Ивановича в листья, а сам на дерево полез. Косоглазый побег и схоронился под елочку. В это время Лисица-бурмистерша прибыла со своим мужем - бурмистером-царем. Котофей Иванович видит, что лежат вол да баран. Накинулся он на добычу и стал рвать. Рвет и кричит:

- Мяу! Мяу! Мяу!

Потом с вола прынул на барана и тоже кричит:

- Мяу! Мяу! Мяу!

Медведь сидит на дубу и гутарит себе: «Мал, а прожорлив!»

А Левону Ивановичу не видать, что за бурмистер-царь. Вот ему захотелось его повидать. Стал он помаленечку высовывать нос. Листья были сухие, зашуршели. А кот подумал, чтомышь. Как бросится на шорох и попал когтями прямо в нос Левону Ивановичу.

Бирюк испугался. Вскочил и побег. А кот сам испугался бирюка да как прыгнет на дуб.

Михайло Иванович видит, что бурмистер добирается до него. Шутки плохи, свернулся в комок – и бух с дуба на землю. Встал и подался в лес. А Лисица-бурмистерша шумит:

- Лови! Лови! Лови их, Котофей Иванович!

Левон Иванович бежит по лесу, крутит носом, а Михайло Иванович бежит и дух не переведет. Встретились они. Вот Левон Иванович спрашивает:

- Ну как, брат, посмотрел бурмистера-царя?

- Да, посмотрел, брат, еле дух перевозу, печенки отбил.

- Да, Михайло Иванович, невелик наш царь, а поворотлив. Он и на земле, и в земле, и на дереве найдет...

А Лисица с Котофеем Ивановичем стали жить-поживать и добра наживать. Звери на поклон добычу им носят.

Лихо одноглазое.

Еще при царе это было. Возвращался казак Тишка со службы домой. Все ближе и ближе родимая сторонushка. Ширится радость в груди у казака, наполняется сердце. Конь боевой легко несет. Едет казак, думу думает, что ждет его дома дорогая матушка и невестушка его Лизанька. Ждут не дождутся. Тому уж три года минуло, как казака дома не было. Завздыхал Тишка. Вот и станица завиднелась. Приосанился казак, песню заиграл, думает: «Мои-то давно прослышали, что я возвращаюсь, с хлебом-солью встретят. Букетами коня украсят. Закатим пир на всю округу». Подъехал Тишка к станице — никто его не привечает. Дома покосились, не белены. Скотина ревмя ревет, не поена, не кормлена. Поля не вспаханы, на засеяны. Плач над куренями стелется, ругань по переулкам гуляет, «Ошаламел народ», — удивился Тишка. Никто его не признает, никто с ним не здоровается. Казаки друг дружке в глаза не глядят, а смотрят — так зло. Бабы причитают: «Ох-х, лихо нам, лихо!» Послушаешь их, так и свет не мил. Детишки в игры не играют, горькие слезы льют. «Что-то тут не так», — смекает Тишка.

Подъехал он к своему куреню. На приступках мать сидит, слезами обливается. В голос кричит, тоскует по единственному сыночку, Тише ненаглядному.

— А вот и я, — говорит Тишка, — живой и невредимый!

Мать плакать перестала, посмотрела на сына и не признала.

— Не сын ты мне вовсе, — говорит, — лежат косточки мово сына на чужедальной стороне. — И опять слезами залилась пуще прежнего.

Как ни бился Тишка — не признает его родимая матушка дорогого сына. И все тут.

Расстроился Тишка. «Пойду, — думает, — к Лизаньке наведаюсь, к суженой своей».

А у Лизаньки та же картина.

— Иди, — говорит, — отсель, знать тебя не знаю и знать не хочу. А Тишку твоего ненавижу всей душой, потому как знаю, с кем на службе прохлаждался. Вот и сгиб ни за грош. А я его так любила...

— Да вот я, живой, здоровый, — говорит Тишка.

— Иди, казачок, отсель подобру, а то неровен час до беды-то.

Лизанька девушка была крупная, в поле за троих казаков управлялась. Тишка опасливо посмотрел на нее. «А ведь правда, долго ли до беды...» — И подался к калитке. А Лизанька ему вслед:

— Наплевать мне на твоего Тишку и растереть. Я за Ваську Косого замуж собралась. — И в рев: — Ох, лихо мне, лихо!

Тишка ей из-за плетня:

— Тоже мне казака нашла! Тьфу, срамота!

А у самого душа заныла. «И что ж такое делается на белом свете? Ну погоди, бабья порода! Я тебя плеточкой, ишо мозги прочищу».

Идет Тишка улицей. Смотрит: лужа большая, в луже старуха сидит, на один глаз кривая. Горбатая. Лохмотья к худому телу прилипли, в чем только душа держится. Рядом с ней мешок плавает. «Что-то тут не так, — смекает Тишка, — надо ухо остро держать». Завидела его старуха, запричитала:

— Помоги, касатик, помоги, Тиша дорогой. Шла-шла да упала, а встать не могу и никому до меня нет дела.

Обрадовался казак, что хоть один человек его в станице признал. Забыл про то, что сторожко обещался себя держать. Зашел в лужу, подхватил старуху на руки, а та кричит:

— Мешок, мешок не забудь!

Прихватил Тишка мешок, и будто радостью его обдало. И такая радость, что хоть в луже в пляс пускайся. «Что такое, — думает Тишка, — не пойму, что со мной творится». — И говорит старухе:

— Чтой-то я тебя, бабуся, здесь раньше не видывал.

И хочет ее на землю, где посуше, поставить. А та не дается — прилипла, не отлепишь.

— А-а-а! — кричит. — Казачок! Давненько я тебя здесь поджидаю. Сколько денечков прошло, со счета сбилась. — И на шею ему — раз!

— Вот лихо-то, — прошептал Тишка и вздохнул.

— Ага, оно самое и есть. Говорили мне люди, что хитрей тебя казака во всей округе не найдешь, только я похитрей тебя оказалась.

— Выходит, так, — отвечает Тишка со вздохом. — Это ты народ взбулгачила?

— Я, — отвечает Лихо, — кому ж еще. Вон полон мешок радости набрала. Твоей только не хватает.

— Ох и молодец, — нахваливает ее Тишка, а сам думает, как быть, что делать. — Как же ты, — говорит, — в такой маленький мешок так много радости набрала?

— Это я, — говорит Лихо, — вашу радость уминаю.

— Нехорошо, — говорит Тишка, — по человеческой радости топтаться.

— Ничего, — отвечает Лихо, — зато мне от этого веселей становится.

Так они друг с дружкой переговариваются. А Тишка тем временем от станицы далече ушел. Думает: «Счас до яра дойду и вниз головой брошусь. Сам погибну, так и Лиху распроклятому конец придет».

Только он это подумал, как Лихо ему говорит:

— Хватит, казачок, меня на своем горбу таскать, пора о деле подумать.

Остановился Тишка. Слезла с него Лихо и предупреждает:

— Не вздумай от меня бежать и в мыслях не держи, а то хуже будет. «Куда ж хуже-то», — думает Тишка и говорит:

— Ну что ты, я теперь твой слуга на вечные времена.

— Известное дело, — соглашается Лихо. — Пока у тебя всю радость не заберу, не отстану.

— Да бери, — говорит Тишка. — Что ее у меня, мало, что ли? Бери, и дело с концом.

— А зачем мне ее брать? Сам отдашь.

— Это как?

— А вот так. Сейчас, дай дух перевести. Села рядышком, да как закричит, да как запричитает во весь голос.

— Так мне тебя жалко, казачок, спасу нет. У Тишки от удивленья глаза на лоб полезли.

— Если жалко, отпусти на все четыре стороны. Зачем сердце рвешь?

— Вот поговорим о жизни нашей и отпущу, не резон мне тебя держать.

— Про жизнь так про жизнь.

— Смотрю я на тебя, казачок, голова твоя поседела, тело твое изранетое. Воевал, себя не жалел. А много ль от царя-батюшки наград получил?

— Да ничего, — говорит Тишка, — не получил. Так не за царя кровинушку свою по капле отдавал, а за Родину свою, за землю, на которой живу.

— И то так, — отвечает Лихо. Видит, здесь казака не проймешь, с другого бока подступает. Голос еще жалчей сделала:

— Был бедняк, бедняком и остался. Дома коровешку оставлял, и та без тебя сдохла.

— Ничего, — говорит Тишка, — были б руки-ноги целы — не пропадем.

А Лихо свою линию гнет, не успокаивается:

— Суженая твоя к другому подалась.

— Твоя правда, — сказал Тишка. И завздыхал, закручинился, да так, что свет не мил показался.

Лихо довольная. Руки потирает. Довела-таки казака. Смотрит Тишка, а мешок-то с радостью вроде как поболее прежнего стал. Смекает, в чем дело. «Ну ничего, старая, я еще над тобой позабавлюсь». И залился слезами, уже понарошку. А Лихо развеселилась. В пляс пошла. Откуда прыть взялась.

— Говори, — кричит, — говори, на душе легче будет.

— Ох, — говорит Тишка, — уморила ты меня. Не житье мне на белом свете. Пойду руки на себя наложу.

Просьба у меня напоследки жизни. Дай передохнуть.

А Лихо довольная такая. Что ж, мол, передохни. А потом еще погорюешь.

— Сильная ты, Лихо, никогда бы не подумал. Ловко умеешь человеческую радость собирать.

Лихо в ответ: «Я, — говорит, — такая. К человеку подход имею. Так человека разжалоблю, так его растроваю. Всю радость до капельки отдаст, а без радости и совесть легко потерять. Водички попрошу напиток. Кто ж не даст. Глядишь, разговор завязался. Как живешь, спрашиваю. Хорошо, говорит, живу. Кто ж тебе сразу скажет, что плохо живет? Ничем, спрашиваю, не обижен в этой жизни? Кто же, говорит, не обижен. И начинает... А я подначиваю. И пошло-поехало. Человек в слезы. А у меня мешок наготове».

— Ох, и хитра ты, Лихо, где мне тебя перехитрить. Давай, — говорит, — в прятки поиграем. Я страсть до чего

любил в детстве в прятки играть. Никто сыскать меня не мог.

— Ну что ж, — говорит Лихо, — давай поиграем, только от меня прятаться — бесполезное дело. Я тебя везде сыщу.

И стали они в прятки играть. Тишка в копешку с сеном залез. Лихо нашла.

На дерево взобрался. За ветвями укрылся. И там нашла.

— И правда, — говорит Тишка, — бесполезное дело от тебя прятаться. Ну-ка теперь ты попробуй схоронись.

Повернуться не успел, глядь, нет Лиха. Куда подевалась, может, не было ее вовсе. В страшном сне привиделась. Тишка туда, Тишка сюда. Глядь, мешок с человеческой радостью лежит на месте. «Не сон, знать, мне привиделся, — думает, — и не умом я тронулся». Мешок бы развязать, да и дело с концом. Потом думает: «Негоже так, надо сначала с Лихом разделаться».

Стал Тишка приглядываться да присматриваться. Видит: на дереве сучок выбит, маленькое такое дуплишко образовалось. А из дуплишка носик остренький торчит, грязью перепачканный. «Э-э-э, — думает казак, — смекай, Тишка, не просчитайся. Как же это она туда забралась?» И говорит:

— Выходи, Лихо, покажись, не могу тебя сыскать. Где мне с тобой тягаться.

А Лихо тут как тут, до чегошеньки довольная, от казачьей похвалы голова кругом пошла. Тишка виду не кажет.

Удивляется:

— Где ж ты так схоронилась?

— А туточки, рядышком была. Ты мимо меня сто разов прошел... В дупле я была, вот где!

— В такое маленькое дуплишко забралась, ай да Лихо, ай да молодец.

— Это что, — говорит Лихо, — я вот в такую щелочку пролезу, клубочком свернусь, никто меня не приметит.

— Это что, — говорит Тишка, — это еще не удивление, а вот в кисет сможешь забраться? Смотри, какой маленький! — И сам кисет вытащил, развязал. — Нет, — говорит, — в кисет не сможешь. — И вздохнул. — В ноздрях у тебя еще не кругло.

— Это у меня не кругло? — расходилась Лихо, — Да я в один момент... Хоп! — и готово.

Казак кисет чуть не выронил, до того он тяжелый стал. Быстренько завязал его тройным узлом.

— Понюхай, — говорит, — Лихо, табаку.

И рукавом пот со лба смахнул. Умаялся. Большое дело сделал. А Лихо из кисета кричит:

— Залезла, казачок, а ты не верил. Тишку смех разбирает.

— Молодец, — говорит, — ты, Лихо, твоя взяла! Только из кисета тебе теперь ходу нет.

Запричитала Лихо, стала просить казака, чтобы выпустил он ее. Потом грозить начала.

— Нет, — говорит Тишка, — ты меня этим не проймешь. Кисет жалко, Лизин подарок. Ну так ничего, в дело пошел.

Подкинул Тишка кисел на ладони. Тяжеленький. И запустил его подальше в репы да калюку. Развязал он мешок с человеческой радостью... В станице кочеты запели. Все разом, в один голос. На душе радостно. Слов нет. Кто-то песню заиграл. Веселую. «Никак, моя Лизанька старается, — подумал Тишка, — эх, пора и мне домой возвращаться». Не успел он шага шагнуть, а народ ему навстречу валом валит. Тишу-дорогушу встречать-привечать. Впереди мать идет. Чуть поодаль Лизанька. Плачут. Уже от радости. «Дождались мы тебя, Тишу-казака. Без тебя пропадай наши головушки». Тишка усы подкрутил, подбоченился, то-то, мол. И пошел навстречу. Но на этом дело не кончилось.

Ехал барин по дороге. В карете дорогой. Весь в золоте убратый. Смотрит: впереди по дороге что-то катится.

Кучеру в бок толк — мол, придержи коней. Из кареты вылез, не поленился. Видит: кисет на дороге лежит.

Схватил его. Тяжелый. Золото, думает. Пока развязал, ногти холеные пообломал. Выскочила из кисета Лихо. И уселась барину на шею. И ласково так говорит:

— Вот спасибо, друг ты мой милый, выручил! Теперь в услужении у меня будешь, пока я твое добро до нитки не спущу.

И кучеру рукой махнула, мол, поехали.

Поехали так поехали. А нашей сказке тут остановка.

Лобаста.

Давным-давно жил казак. Звали его Дрон. Вот однажды поехал он на охоту. И случилось с ним такое, что с другими сроду не бывало. Едет он, едет по степи и чувствует: словно следит за ним кто-то. «Может, — думает, — лихой степняк хочет меня заполонить». Оглянется, нет никого. Что за напасть. Знать, чудится. Дальше едет. Далеко в степь забрался. Жара нестерпимая. Самое время на сайгаков охоту вести. Заприметил Дрон стадо. С коня слез и стал с подветренной стороны к сайгакам подбираться. Долго полз. Наконец добрался близехонько. Ружье на рогульку приспособил. «Счас, — думает, — свистну, стадо вскинется, а я одним выстрелом двух, а то и трех сайгаков положу». Только приладился. Как вдруг стадо с места снялось, только его и видели. Пальнул Дрон вслед и попал в белый свет, как в копеечку. «Что такое, — думает, — со мной еще такого не бывало. Может, кто другой стадо вспугнул». Встал. Огляделся. Никого. Ну дела!

До вечера за сайгаками по степи кружил, да все без толку. «Не проделки ли это Лобасты? — думает Дрон. — Если так, то сторожко надо себя держать». С Лобастой шутки плохи. Она первая в степи хозяйка, над зверем начальница. Если встретит ее охотник — быть беде: заведет в гиблое место или, того хуже, спящего волосом к былинке привяжет и примешь смерть мученическую.

Свечерело. Развел Дрон у карагача костер. Наладился кулеш варить. Глядь, вроде идет кто-то. Зверь не зверь. Человек не человек. Лобаста! Подходит ближе. Вроде как девица, только в шкуры звериные одетая.

— Ты кто? — спрашивает ее казак.

Молчит.

— Кто?

Опять молчит.

— Немая, што ли?

А она головой кивает. К костру присела. На варево казачка уставилась и молчит. Дрон котел ей подвинул.

Ложку дал.

— Ешь!

Схватила ложку девица. Поела. Встала и ушла. «Чудеса господни, — думает Дрон. — Спать не буду. На рассвете надо с этого места уходить подобру-поздорову».

Всю ночь не спал Дрон, под утро забылся. Глаза открыл. А перед ним девица вчерашняя стоит. И шепчет что-то беззвучно. Не по себе казаку стало. В пот ударило. Вскочил с полости. Как закричит:

— Ах ты, ведьма проклятая!

И плетью замахнулся. Да рука не опустилась. Может, и ведьма. Только красоты писаной. Стоит, смотрит, глаза не отводит. А глаза глубокие, большие. Замерло сердце у казака, голова закружилась. «Неужто, — думает, — я себя не переборю». Развернулся круто. И на коня. Отъехал недалеко. Оглянулся. А она следом идет. Он коня в шенкеля — и ходу. Потом думает: «Негоже казаку от девицы бегством спастись». Придержал коня.

Оглянулся. Она следом бежит. Руками машет. Повернул Дрон коня. Подъехал. Она стоит, смотрит, родимец ее возьми. Слезы ручьями текут. Сказать что-то хочет, да не может. И смотрит так, что на душе у Дрона затомилось. Глядит на нее казак. «Человек как человек. Только в шкуры одетая. Не бросать же ее одну.

Возьму-ка я ее до людей». Потеребил казак усы и говорит:

— Согласная ты со мной ехать?

А она кивает головой. Смеется и плачет от радости.

Привез Дрон девицу в станицу. Вывел ее в круг.

— Вот, — говорит, — хочу на ней жениться.

Ну, а народ, что? Хочешь, так женись. На том и порешили. Старики их вокруг березы обвели. Вот и вся свадьба. Тогда так женили. Поженили их, значит. Живут. Хозяйка справная с той девицы вышла. Одно плохо — молчит и другой одежи, кроме своих шкур, не признает. Дрон уже и так, и сяк, и лаской, и грозил. Наряды ей персидские да турецкие предлагал, что в походах раздобыл. Только она ни в какую. Не снимает своих шкур, и все. Сядет и плачет. По станице разговоры пошли. Добро, мол, хоть с походу девку взял, а то так, нашел где-то приبلудную. Неудобно казаку. Оправдывается. Не бросать же человека в степи. Слышит такие речи его жена. Голову клонит. Сказать что-то хочет, да не может. Совсем Дрону жизнь такая немоготу. Перед людьми стыдно. А чего совестится, сам не знает. Однажды ночью дождался казак, когда его жена уснет. Встал

тихонечко. Собрал шкуры звериные, что одеждой жене служили. Вышел во двор и шашкой посек в мелкие клочья. А у самого чувство такое, что по живому месту рубит. Ему б остановиться. Да разум обидой затуманен. С делом управился, Оглянулся. На приступках жена стоит и говорит. А голос такой тихий, грудной.

— Эх, Дрон, Дрон, погубил ты меня на веки вечные... Не дождался ты всего три дня и три ночи... И как вздохнет тяжело. Слезы катятся. От горести и обиды.

— Не любил ты меня, Дрон, жалел только — вот твоя вина. Прости, — говорит, — и прощай, любимый, навсегда.

И пропала, будто не стояла рядом и не говорила с ним. Упал Дрон как стоял, по сухой земле елозит, кровавым ртом ее грызет. Боль-тоска под самое сердце вошла. «Что наделал, сам себя под самый корень срубил. Эх ты, жизнь моя никудышная, жизнь загубленная...»

Изменился Дрон с тех пор, лицом посерел, телом опал. Ходит, смотрит, да ничего вокруг себя не видит, слушает, да ничего не слышит. Идет куда, потом забудет, станет, стоит, махнет рукой и обратно повернет. Много ли, мало ли времени прошло. Говорят ему товарищи: «Поедем на Черно море турку пошарпаем». Отнекивается Дрон. Чумно на его душе, не за турку у него забота. Надоумили его поехать к одному старику. Жил там такой неподалеку. Колдун не колдун. А так, человек неприветливый. Побаивались его люди, сторонились. Приехал Дрон к старику, ружье ему в грудь наставил и говорит:

— Если беде моей не поможешь, пристрелю, как собаку.

Старик на него как зыркнет. Дрон так и обомлел. На что уж казак не робкий был.

— Знаю, — говорит, — про твою беду. А как помочь — не ведаю.

Налил в чашку воды. Бросил туда кольцо. Пошептал что-то, руками поводил.

— Вот, посмотри на жену свою раскрасавицу.

Видит Дрон степь. Стадо сайгачье. А промеж сайгаков Лобаста прыгает. Роста махонького. Тело шерстью обросло. Нос клювом утиным торчит. Вместо ног копыта. «Вот страшилище-то», — не выдержал Дрон, глаза отвел. Как быть? Что делать? А старик и говорит:

— Я тебе в таком деле не советчик. Сам кашу заварил, сам и расхлебывай.

Стыдно стало Дрону. «Поеду, — думает, — счастья попытаю, может, разыщу жену свою, и совершится еще раз чудо».

Едет Дрон по степи, в голове грустные мысли держит. День едет, два, притомился, конь спотыкается. Сам едва в седле держится. Вдруг смотрит: темная туча с горизонта идет, по земле стелется. Кружил Дрон по степи, кружил. Нигде просвета не видать. «Все, — думает, — конец мне пришел. И что дома не сиделось». Только это подумал, исчез туман. Солнце светит. Небо голубое да степь ковыльная. Стоит перед ним Лобаста и говорит ему:

— На первый раз прощаю тебя. Возвращайся домой, Дрон.

От одного вида Лобасты дрогнуло сердце у казака. В душу сомнение забралось. Язык не повернулся что-то сказать в ответ. И поехал восвояси. В голове тяжело, на душе пусто. «Все равно, — думает, — мне не жизнь без нее, надо вертаться. Теперь не смалодушничая».

И повернул коня назад.

День едет, два. Сомнения от себя гонит. Сушь стоит невыносимая. Ни ручеечка кругом, ни лужицы маленькой. В висках кровь стучит, язык распух. Как в бреду. Видится ему река широкая. Воды там, пей — не хочу. Упал Дрон с коня. Еле живой. «Не по мне, — думает, — это дело — с нечистой силой тягаться». Только подумал так, глядь, стоит перед ним Лобаста.

Смеется, да как-то невесело.

— Последний раз тебя прощаю, Дрон. На третий раз не жить тебе на этом свете.

Сказала и исчезла. А на том месте, где стояла она, родничок забил. Да такой веселый. Припал к нему Дрон. Напился. Отлежался. «Все, — думает, — не человек я после этого. Смерть свою и то принять не могу. Эх, Дрон, Дрон, грош тебе цена».

Поднялся и пошел Лобасту искать, душой крепкий и в себе уверенный. А ручеек тот разлился в речку. Вдруг накатила на него волна. Сбила с ног и потащила к морю-океану. Борется Дрон как может. Плышет. Да из сил быстро выбился. Чувствует, конец ему приходит. Собрался с духом и крикнул:

— Прощай, дорогая, навсегда! Только напоследки объявись. Не отступился я от тебя.

Очнулся Дрон. Что такое? Лежит он на своем дворе. В руках шашка. Рядом шкуры лежат посеченные. А на крыльце жена стоит. Расрасавица. Слов нет, до чего пригожая. Разодетая так, что твоя княжна. В ноги ему кланяется и говорит:

— Спасибо тебе, Дрон, муж мой разлюбезный, спасла меня твоя любовь.

А Дрон понять ничего не может. Во сне то было с ним, что приключилось, иль наяву.

— Тебе спасибо, — говорит, — что любить меня научила.

И зажили они счастливо. Детишек у них много было. Какое счастье без детишек-то?

Митяй - казак бесстрашный

Рассказывали люди, когда Митяй мал еще был, чуть больше рукавицы, лежал он в люльке. Насупленный, сурьезный такой. В курене ни души: отец в поле, мать хлопотала где-то по домашности.

Подкрался к люльке Страх и стал ребенку рожи корчить, чтоб напужать мальчика. А Митяй изловчился. Хватя его за бороду и ну трепать. Да так ухватил — не отдерешь. Крики, вопли в курене. Мать услышала. Ой, чтой-то с Митяем? Забежала сама не своя, а он в люльке лежит, от удовольствия пузыри пускает, в руках пучок сивых волос держит, играет. А за окном плач да угрозы, да воркотня. Где это видано, чтоб со Страхом так обращаться.

Следующий случай вышел, когда Митяю три года исполнилось. Посадил его отец на коня, чтоб по двору провезти, по казачьему обычаю. Страх из-за сарая как выскочит, отец напугался до смерти, из рук узду выпустил. Конь — на дыбки и понес через забор в чисто поле. Убьется малец! Замерло сердце у отца, мать в голос завывала. День к вечеру уже пошел. Видят, идет конь ко двору, весь в пене. А на нем Митяй восседает. Довольный. Вот какие чудеса чудесные!

Другой случай такой был. Митяй уже в малолетках ходил. В путину со взрослыми невод увязался тянуть. Упросил Страх Водяного побаловать, людям объявиться,

— А я, говорит, — за кусточками посижу.

Долго не хотел этого Водяной. Не солидно, мол. Да согласился наконец. Тянут казаки невод. Тяжело. Видать много рыбы попало. Подтащили к берегу. А из мотни Водяной, возьми да объявись. Врассыпную народ, кто куда. Страх хихикает, ручонки потирает. Довольный. Смотрит, а Митяй, как стоял на бережку, так и стоит.

Говорит Водяному:

— Ты что балуешь?

А Водяной ему бряк в ответ:

— Где здесь дорога на Царицын?

— А вот тамочки, — говорит Митяй, — так напрямик и держи по реченьке.

Развернулся Водяной, от досады Страху кулаком помахал и пошлепал прямо по воде в ту сторону, куда ему Митяй указал.

Пошла с тех пор за Митяем слава бесстрашного.

Подрос Митяй, в года вошел. Война приключилась. Пошел Митяй на войну. А Страх в обозе пристроился. «Уж тут, — думает, — я его пройму».

Вышли казаки к позициям. Слышит Митяй команду:

— Подтянуть подпруги! Садись! Смирно! Шашки вон! В атаку с гиком марш-марш!

Чует Митяй, что-то тревожит его, не по себе ему чего-то. Оглянулся, а сзади на крупе Страх присел и ухмыляется. Выхватил Митяй нагайку и проканифолил Страху от души.

— Размякни маленько, отдышись.

Пули — тзык-тзык! Орудия громыхают, пехота сгурбилась, как стадо, тут казаки врезались в самую гущу. Тут и Митяй подоспел, злой, что замешкался. Упаси боже, что плохое подумают! Вертится на своем маштаке, рубится без устали. Кровь разгорячилась, рука расходилась. Тут наш трубач «стой!» играет, «ап-пель!». Пехота заторопилась, ну, стрелочки, пора и в кусточки. Наши отошли, а Митяй не слышит, в самый раж вошел.

Вражий офицер говорит своим метким стрелкам:

— Ну, братцы, ссадите вон того молодца.

Да где там! Такого молодца разве пулей возьмешь. Тут и станичники на выручку пришли, ударили по неприятелю. Опрокинули. Хоть рыло в грязи, да наша взяла. После боя позвал Митяя к себе генерал.

— Хороший ли ты казак? — спрашивает.

— Под судом и следствием не был, — отвечает Митяй.

— На следующий раз попадешь, если команды слушать не будешь. И произвел его в урядники.

После того, как Митяй нагайкой проканифолил Страху, забился он в самые что ни на есть калюки, охает-стонет: «И что же это на белом свете такое происходит». Глядь, а рядом Смерть стоит. Притомилась. Жатва ей

большая вышла. Стоит, на косу тяжело опершись... Страх к ней.

— Подсоби, — говорит.

— Да на что он тебе сдался? У меня и без него дел по самую маковку.

— До чего ж ты, — говорит Страх, — неупросливая, когда надо. Ты вот тут гузынишься, а он меня за живое задел. Страх я или кто? Подсоби! Иль мы не в родстве ходим? Всегда рядышком, бок о бок по белу свету.

— Ладно, не трандычи, — говорит Смерть нехотя, — будь по-твоему.

Сидит Митяй, шашку чистит. Видит, батюшки мои! К нему Смерть поспешает, а сзади Страх чикиляет.

Подходит она к нему и спрашивает:

— Как жизнь-то?

— Да житьишко вмоготу, — отвечает Митяй.

— Ну что, казак, пришел черед твой ко мне в гости иттить.

— А я, — говорит Митяй, — не спешу. Я еще обожду.

Зенки свои вытарацил. Желваками заиграл. Вырвал у Смерти косу. Сломал. Нагайку из-за голенища вытащил.

Да как ее оттянет. Да раз, да два. Отлупцевал Смерть. Страх видит такое дело. В бега ударился. А за ним Смерть. Грозится, ты, мол, еще у меня наплачешься. Гляди, наведуясь.

— Приходи, — говорит Митяй. — Нагаечкой проканифолю. Отлегнет тебе маленько.

Много еще геройств Митяй всяких совершил. Записался он охотником во вражеском тылу похозяйничать.

Сколько укреплений взорвал, складов сжег, языков в плен забрал — не счесть.

А вскоре замирение вышло. Смерть-то наших не принимает, вражья пуля не берет. Запросил неприятель пощады. И пошла гульба. Приступили казачки шиночки проверять. Пошел с ними Митяй. Увидел шинкарочку.

Больно приглядна. Девка, как есть без пороку. Говорит ей:

— У меня, красавица, каждая косточка, каждая жилка, кажись тебе радуется.

А сам думает: «Откуль у него такие слова взялись?» Аж сердце у самого защипало.

— Речи твои медовые, — отвечает ему шинкарочка, — тока у меня другой на примете имеется, ни тебе чета.

— Ладно, — говорит Митяй. — Быть так, коли пометил дьяк.

А сердце еще больше заныло. Глядь, а около него Страх на лавке пристроился, чего-то выжидает. Митяй как уважил его кулачищем между глаз.

— Что щеришься, корявый?

Визг тут поднялся. Весь шинок перебудоражил. Кинулись землячки к Митяю, мол, перепил маленько.

Успокойся.

— Ничего, — отвечает Митяй, — я еще посижу.

Вот сидит. Заговорило у него ретивое. Захотел он порешить дело в один прием.

— Проводи меня, красавица, до крыльца, чтой-то я намахорился, проветриться надоть.

Довела шинкарочка его до крыльца. Ухватил ее Митяй. Бросил поперек седла. Гикнул. И был таков. Льет шинкарочка слезы, голосит по отцу-матери, по милому дружку.

— Умру я, девка, в чужедальней стороне, неоплаканная... Ты не жди меня, миленький, в глухую ночь... Ты не жди меня, хорошенький, на белой заре... Чему быть — так верно сбудется...

Не слушает ее Митяй, коня торопит.

— Може, — говорит, — на свое счастье едешь.

Вернулся казак домой с молодой женой. Раскрасавицей. Тока печальной больно да молчаливой.

Вон сколько наград на груди поблескивает, но сторонятся люди Митяя, дружбу не водят, даже годки, и те поспешали при встрече обойти стороной. Митяю это не в тягость. «Квельый народец пошел, — думает, — завидки их берут. Вот и гузынятся». А сам за собой ничего не видит. Слова ему поперек не скажи. Если сам что скажет — как отрежет, все по его будет. Пытались старики его урезонить. Да где там, гордыня через край хлещет.

Жена принесла ему двойню: мальчика и девочку. Подошел он к сыну. Тот плачет-заливается. Махнул рукой — не в его породу, а на дочку и смотреть не стал.

Потомился он еще малость дома и засобирился в дальние края.

— Хочу, — говорит, — себе ровню найти.

Мать к нему.

— Мы-то с отцом старые. Как же детишки без кормильца?

— Ничего, переможете. Мне, — говорит, — здесь тошно за плугом ходить да косою махать. Чтоб я на это жизнь положил? У меня другое предназначение.

И уехал.

Лет десять, а може и поболее того, не было Митяя в родных местах. В каких краях его носило, где пути-дороги его лежали, одному ему ведомо.

Видят люди, едет Митяй, едет. Сам черт ему не брат. Годы его не берут. Какой был, такой и остался. Значит, не припало ему себе ровню найти. Сидит в седле, как влитой. Та же стать, та же сила из него идет. Подъехал он к своему подворью. А оно крапивой да лебедой заросло. На том месте, где курень стоял, ямы да колдобины. Рассказали ему соседи, что, мол, умерли старики сразу же после его отъезда, а за ними и женка убралась.

— А дети, — спрашивает, — где?

— Дети по людям пошли. И пропал их след.

Глядит на Митяя народ, хотя бы слезинку проронил иль слово какое сказал. Вот твердокаменный! Сел Митяй на коня.

И в галоп его пустил.

Загнал Митяй коня до смерти. Бросил. Пошел дальше пешки. Идет, себя не помнит. Подошел к омуту. «Эх, жизнь пустая. Ничего в ней не нашел».

И в омут — головой. А из омута сила неведомая его на берег выпихнула. По воде пузыри пошли. Вынырнул Водяной и говорит сердито:

— Я тя знаю. Ты Митяй — казак бесстрашный. Ты мне здесь такой не нужен.

Отошел Митяй от омута подале. Упал на лугу. Трясет его тело. Водит. Судорогами бьет. То в жар, то в холод бросает. Забылся на час. Через сколько очнулся, не помнит. Ладонью по лицу провел. А оно мокрое. От слез-то, мокрое. С мальства не плакал. И вот тебе! Сердце размякло. На душе потеплело.

Лежит Митяй, голубым небом любит, каждой травиночке, каждой букашечке радуется. Хряснула ветка. Вздрогнул Митяй. «Никак, испугался». Обрадовался. «Теперь как все люди заживу, — думает, — детишек сыщу. Прощения попрошу. Авось примут». Сомнение в себе появилось. Думы одолевают. Родителей, жену вспомнил. Закручинился. На душе засадило. Раскаяние Митяя за сердце взяло. Привстал казак с травы. Смотрит. Глазам своим верить не хочет. Над ним Страх сидит. Лыбится, довольный. А за ним Смерть стоит молча, свой черед ждет.

Повело Митяя, передернуло. Лицом белый стал, как мел. Колени перед ними преклонил.

— Погодите, — говорит, — дайте детишек найти. На ноги поставить. А потом сам к вам приду.

— Нам годить не досуг, — говорит Страх. — Я тебя столько годов ждал, когда ты меня позовешь.

— Что ж, — говорит Митяй. С земли встал. — Бери, косая.

И к Смерти обращается. А она ему в ответ:

— Должен ты страдание в этой жизни принять. Без этого я тебя к себе не возьму. И отвернулась. Говорит Страх:

— Вот я тебя по лесам, по долам повожу. Примешь переживания, что тебе отведены, а там Смерть тобой займется.

И повел Страх Митяя над пропастями глубокими, по мосточкам шатким, по болотам топким, по пустыням жарким... Побелел Митяй, как лунь, руки-ноги скорчились, дрожат. Пришел черед Смерти. Стала она у него жизнь по капле отнимать, приговаривать:

— Не видать тебе, Митяй, своих детушек. Некому тебя будет хоронить, никому ты ненужный.

Натешилась Смерть над Митяем досыта. Бросила у дороги. Лежит Митяй, последняя капля жизни в нем еле-еле теплится.

А по дороге едут дети с сенокоса, брат да сестра. Увидели, человек лежит, а над ним вороны кружат. Лошадей остановили. К нему кинулись. Ворон распугали. Уложили на телегу. Улыбнулся Митяй напоследки и умер.

Привезли его на хутор, обмыли тело. Похоронили. Поплакали вдосталь.

То и были дети Митяя, сын да дочь. Узнал их, видно, перед смертью отец.

Оборотень.

В одной станице жил колдун по прозвищу Жогша. Настоящего его имени никто из станичников и не припомнил бы сразу. Жогша да Жогша. Народ его побаивался, он как бы этим довольный был.

Действительную Жогша не служил. Нашли у него какой-то в теле изъян и дали ему отступную. Жил он один, ни с кем не znalся. Потом взял к себе племянника вскормленником, на воспитание как бы.

Племянник его телесами был здоров, да ин-да умом слегка недовольный. Вечно ему от ребятни на орехи доставалось из-за его тугоумия. Жаловался племянник дяде на обиды, доносил ему о проделках ребятни. За что обзывали его «девкой губошлепой». Для казачонка позорней слова не придумаешь.

А верховодил над ребятней Минька, первый выдумщик и первый зачинщик ребячьих проказ. Не было ему в этом равных. Пройдет ли проказа даром или взъедет ему на шею, ему кубыть все равно. Одно знал твердо Минька: проказа должна быть достойна казака, чтобы не пропасть ему в общем мнении.

Мать Миньки вздыхала горестно.

— У всех дети как дети, а мой сынок заполошенный,

— Опять заялдычила, — досадовал отец, — ты на своих дочек возлюбленных посмотри.

Защищал отец Миньку, но если проказа выходила наружу, спуску не давал, в строгости его держал.

Вот однажды играли казачата в прятки. Забежал Минька в заброшенный сарай, закопался в старую солому.

«Тута, — думает, — ни за что не найдут, обыщутся». Вдруг видит, корова в сарай вошла, а за ней Жогша. Встал он напротив коровы. Уставился на нее зенками. Та засмирела, голову опустила, даже хвостом перестала махать. И молоко у нее из вымени само-собой потекло прямо наземь. Оторопел Минька. Испугался. Вон какими делами Жогша занимается. А корова-то соседская, видать, от стада отбилась. Соседка была вдовая, у нее детей мал мала меньше. Зачем-то ей пакостить! Взяло Миньку за живое. «Ну, — думает, — ведьмак киевский, погоди, удружу я тебе козью морду».

Вспомнил он, как Жогша нищих погорельцев кислым молоком угостил. Дал молока не мешочного, а кадочного, пригорклого, такого, что добрые люди и победнее сами не едят, а употребляют для выделки овчин. Потом у нищих от этого угощения животы и повспучило...

Слоилась корова, довольная замычала, хвостом замотала. Выгнал ее Жогша из сарая и потом сам ушел.

Минька из соломы выбрался, не до игры ему. На уме только одно: чтобы такое Жогше замозголовить. Идет он по улице задумчивый. Слышит, окликает его кто-то. Оглянулся — Жогша. Зовет его к себе. Струхнул Минька, но виду не подал. Глаза у Жогши темные да злые. Схватил он Миньку. Ухо ему накрутил. Распухло оно, как вареник. Стерпел это Минька. Ждет, что дальше будет.

— Это тебе за то, что со мной не поздоровался. Так отцу и передай. И отпустил Миньку. Пришел он домой.

Отец спрашивает:

— Чо ухо оттопыренное, лазоревым цветом цветет?

— С Жогшей не поздоровался.

Мать руками всплеснула: мыслимо ли дело Жогшу в досаду вводить. Отец насупурился. Взял минькино ухо да как крутнет! Слезы у того из глаз так и брызнули.

— Это, чтоб помнил, — говорит отец, — старших уважать надо.

В те времена строгости были большие. В станице в свичае было со всеми здороваться по несколько раз на дню. Младший старшему всегда первым должен уважение оказывать, «Ладноть, — думает Минька, — однако ж я все одно с Жогшей здороваться не буду».

Не задержалось у него, замозголовил он проказу. Выждал Минька, когда ни Жогши, ни племянника дома не было, и залез к ним в погреб. Батюшки мои! А там всего вдоволь: и говядины соленой, и масла, и яиц, а о молоке и каймаке говорить нечего: этим добром хоть пруд пруди. Набросал Минька в кадки да горшки дохлых мышей, кузнечиков, гусениц и всякой твари. И был таков. Жогша, обнаружив такое, чуть не дошел до конечного отчаяния. Побежал он к атаману жаловаться.

— Это Минька напрокудил. Его рук дело, больше некому.

Атаман призвал Миньку к допросу. Тот не заробел, говорит атаману:

— Чем на меня напраслину наводить, ты б Жогшу приструнил маленько. Снедь, небось, порченая была, вот и погибли твари ни за грош. А если б люди отведали, что тогда?

Засмеялся атаман: ловок шельмец, что с таким будешь делать. А Жогшу поначалу оторопь взяла, а когда ж в себя пришел, хотел Миньку за вихры ухватить, но тот не стал этого дожидаться, увернулся:

— Ну-ка, дале с табаком, дай дорогу с пирогом.

И на крыльцо правления выскочил. Слышит, кричит Жогша:

— Одрало бы тебя!

Засмеялся Минька. Ловко получилось. Дома, конечно, отец калашматки задаст. Зато Жогшу проучил.

Далее начались с Минькой случаи разные выходить. Попервам он им значения не придавал. Забежал к ним во двор черный кочет. Завидел Миньку, стал на него кидаться. Ах, ты, нечистый дух! Прыгает на парнишку, норовит глаза выклевать. Еле-еле отбился Минька, в сарай забежал. Гневается кочет, клекочет. От двери не отходит. Мать из хаты вышла, Миньку позвала. Он из-за двери нос высунул: нет ли кочета? Нету. Дух перевел. Мать смеется: видано ли дело, чтобы Минька в сарае сидел. А ему не до смеха. Да и стыдно стало, что кочета испугался.

Сколько времени с тех пор прошло — никто не считал, сидел Минька на крылечке, вдруг к его ногам клубок черной пряжи подкатил. Интересно парнишке, ждет, что дальше будет. А клубок круголя сделал да начал минькины ноги опутывать-стягивать. Страшно стало Миньке, силится он нитки разорвать да не тут-то было! Нитки, как железные, стянули обручами ноги, стали тело опоясывать. Дух заняло.

Вдруг отец во двор заходит.

— Ты чо, расселся, — говорит, — на ярманку пора ехать.

— Счас, — отвечает Минька, а сам с духом собраться не может.

Третий случай вышел, когда Минька уже женихаться начал. Идет он как-то с посиделок. Луна полная, светло как днем. На улице никого. Тихо, даже собаки не брешут. Вдруг из проулка кабан выскочил, такой здоровущий хряк. И понесся на Миньку во весь опор. Того и гляди, с ног собьет.

Не растерялся Минька, каменюгу ухватил да как метнет в кабана. Попал ему прямо в лоб. Остановился кабан, закачался. На передние ноги упал. Выдернул Минька кол из плетня и начал его обуздывать. А тот очухался. В себя, видать, пришел от минькиных угощений. Заюзжал. Минька, недолго думая, вскочил на него верхом. Кабан понесся пулей. Дух захватывает. Понукает его Минька и по бокам не забывает наяривать. За станицей упал кабан без сил, носом кровь пошла. Глянул Минька, а под ним-то не кабан, а сам Жогша лежит. Вот такие дела!

Взмолился Жогша:

— Не бей ты меня, пожалей... Бросил палку Минька.

— Так это ты на меня кочетом налетал да пряжей опутывал?

— Я то был...

Разозлился Минька, в пору хоть опять за палку взяться да бока колдуну перекрошить.

— Отпусти ты меня, — просит Жогша и горько плачет, — не буду я больше никому вреда делать.

— Ну, смотри у меня, ежели что, не спущу я тебе, заставлю из песка веревки вить.

Оставил Минька Жогшу и домой пошел. Мать на стук двери встала, лампу зажгла. Увидела Миньку, руками плесь.

— Ты что такой замусатенный? Всё ли благополучно?

А Минька отвечает весело.

— Нет, не все. Мыши кошек стали есть, воробьи коршунов ловят, на станичной колокольне кобыла повесилась, а соседкин кабан Жогшей нарядился.

Махнула мать рукой:

— Ложись спать, мелево!

После этого случая Минька нос закопылил. Как же, самого Жогшу одолел. А Жогша с полгода из дома не выходил, хворый лежал. Приутих, сбил с него Минька форс. Да надолго ли? Затаился по-всему колдун до времени, случай подходящий выжидал, как обиду выместить.

Время пришло, понравилась Миньке девица по имени Татьяна. Бывало, сколько разов мимо нее проходил и ничего, не появлялось у Миньки на сердце сладкого щемления. А увидел-разглядел он ее на игрищах. Стояла Татьяна у дерева, ядреная да румяная, залюбуешься. Подошел к ней Минька.

— Эх, щечки, — говорит, — точно яблоки. Поди ж и твердые такие. Дай потрогаю. Татьяна ему эту вольность не спустила.

— Уйди, шабол! — говорит. — Куды руки тянешь? Не твое — не трожь!

— Дай срок.

Посмеялся Минька, однако ж встрепыхнулось его сердце. Не привыкший казак отступать. Если с одного бока отлуп получил, он с другого зайдет. Добился он-таки татьянинного расположения и любви до самого конца жизни.

Сосватали Татьяну за Миньку. К свадьбе приготовились. Спыхватилась мать: Жогшу не пригласили — долго ли до беды. Минька мать успокоил.

— Не беспокойся, я сам до него донесусь.

Обрадовалась мать, никак Минька за ум взялся. А тот идет, посмеивается, решил Минька про себя колдуна на свадьбу не приглашать. А вот изведать его надо, да строго-настрого предупредить, чтоб не баловал.

Зашел Минька в хату к Жогше — нету никого, В кухнешку заглянул — нету, на базы — тож. Видит, над погребом дверца открыта. Минька туда. Так и есть. В погребе колдун.

Над кадушкой склонился, нашептывает что-то. Батик его змея обвила, шипит в ответ. «Опять затевается старый хряк, — подумал Минька, — вновь что-то замыслил». Закрыл он дверцу в погреб, в сердцах камнем привалил и крикнул:

— Приходи на свадьбу, Жогша!

А в ответ ругательства да проклятья.

Дома мать Миньку спрашивает:

— Ну как, пригласил Жогшу?

— Пригласил.

— Придет?

— С полным удовольствием.

Вздыхнула мать с облегчением. Куда уж тут! Если колдуна на свадьбу не пригласить, то быть большой беде.

Минькина свадьба весело началась, радостно. Красные флаги трепещут. Кони ржут. Кисти-ленты на дугах развеваются. Колокольцы-бубенцы звенят, заливаются. Съездили за невестой, потом в церковь. Обвенчались, домой вернулись. Все чин по чину.

Начали за стол садиться, а невеста ни в какую. Лихоматом ревет.

— Не буду я с Минькой садиться. Он же страсть какой рябой.

Не поймут гости, в чем дело. Невесту уговаривают. И так и сяк. Бились-бились. Вдруг слышат голос.

— Ты меня на свадьбу приглашал, вот я пришел.

Глянули, в дверях Жогша стоит. Руки лодочкой сложил, нашептывает что-то. Чувствует Минька, ноги как будто в пол вросли.

— Смотри, — говорит Жогша, — какая еще комедь-потеха будет.

Посуда на столе ходуном заходила. Гости вповалку повалились. На рачках ползают. Друг на друга гавчут.

Зашевелились волосы у Миньки, ни думал, ни гадал, с огнем, выходит, шутовал. Вона какая сила у колдуна.

— А зараз, — говорит Жогша, — я сине море сделаю.

Гости с пола повскакивали. Заголяются, как будто в брод через воду идут. Кто на лавку заскочил, кто на печь полез.

— И тебя я зараз подкую, — говорит колдун.

Почувствовал Минька, потянуло его в разные стороны. Голова загудела. И сомлел он.

Очнулся Минька, в кровати лежит. Тело болит, словно кто ножами изрезал, все в красных рубцах. Грудь давит, дыхнуть невозможно. Видит Минька, мать рядом сидит, слезы льет, спрашивает:

— Где Татьяна?

— Дома. Обморок ее накрыл. Еле оттрясли. Говорила я тебе: не связывайся с Жогшей.

Махнул рукой Минька, что, мол, теперича рассуждать, встал, оделся и к Татьяне пошел.

А та, как его завидела, прочь со двора погнала:

— Терпеть тебя ненавижу как!

«Знать, любовь твоя невысокая была», — подумал Минька и поплелся восвояси. И вдруг подходит к нему Жогша.

— Опять ты, Минька, со мной не здоровкаешься, — говорит, — А я вот туточки тебя поджидаю. Хочешь, хомут сниму?

Молчит Минька, нет сил возражать, колдун, будь он трижды неладен, верх над ним взял. Кивнул только в ответ головой.

— Ну, тогда приходи вечером за околицу.

Как солнышко село, пришел Минька за околицу. А там его уже Жогша поджидает. Довольства своего не скрывает. Забрался верхом на Миньку колдун.

— Я-то на тебе еще не катался верхом. Ну-ка, неси меня в лес.

Вздыхнул Минька, деваться некуда, понес Жогшу в лес. Долго Минька по лесу кружил, упыхался. Луна уже вошла.

— Вот тут самый раз будет, — говорит Жогша и слез с парня.

Огляделся Минька, видит, стоят они на поляне у большого пенька. Жогша вытащил нож с медной ручкой, воткнул его в пень, пошептал что-то над ним.

— Прыгай, — говорит, — через нож.

Разбежался Минька и кувыркнулся через пень. Упал в траву. Чувствует; ногти у него выросли, превратились в когти, руки лапами стали, и все тело покрылось мохнатой шкурой. Хотел Минька закричать, и раздался протяжный вой.

Захохотал Жогша.

— Быть тебе волком за твою овечью простоту.

Вытащил нож из пенька и пошел в станицу. Хотел было Минька-волк кинуться на колдуна да разорвать его в клочья, однако ж неведомая сила не пустила. Завыл Минька-волк, чтобы муки свои выразить. Из его глаз потекли слезы в три ручья.

Погоревал Минька-волк, погоревал и в станицу подался. Собаки брех подняли, спасу нет. Добрался-таки он до своей хаты. В дверь пошкрябал лапой.

— Мать, — говорит, — мать, выйди на час.

Услыхала она голос родного сына, выскочила в чем была из хаты. А на крыльце волчина стоит. Закричала мать, позвала на помощь. Кинулся Минька-волк в бега. Слышит отец с берданы выстрелил. В родного-то сына!

Отдышался Минька-волк в лесу. «Все, — думает, — нет мне возврата к прежней жизни, пропадай моя головушка». И озлился Минька-волк на весь белый свет. Начал он людям досаждать, скотину у них резать.

Слухи по станице пошли: волк-то не простой — оборотень. Пуля его не берет, в яму его никакой привадой не заманишь. Решил атаман всем миром на оборотня облаву устроить и сдыхаться от него таким манером раз и навсегда.

Обложили Миньку-волка со всех сторон. Собаки брешут, рожки гудят, трещотки трещат — куда податься?

Кажется, погибель неминуемая настала. Видит Минька-волк, хибарка перекобоченная стоит, а около нее старуха в три погибели согнутая притулилася. Кинулся к ней Минька-волк, на брюхе подполз, о помощи просит. Покачала головой старуха.

— Зачем людям досаду чинил? В чем они перед тобой виноватые?

— Справедливы твои слова, — отвечает Минька-волк. — Тока в чем моя вина? От чего шкура на мне волчья?

— Нет твоей вины, — говорит старуха. — Иди в хату, а я покуда погоню отведу.

Зашел Минька-волк в хибарку. А там прохлада, полумрак; в углу над образами лампадка теплится. Приятно стало ему, хорошо. Вскорости и старушка появилась. Спрашивает его, что да как с ним приключилось.

Рассказал ей Минька-волк про свою жизнь по порядку.

— Страсти Господни, — говорит старуха. — Но как твоей беде помочь, ведаю. Перво-наперво надобно нож колдуна сыскать.

— Так нож-то у Жогши. — Не будет он нож при себе держать. Прячет где-нибудь.

Вышли они во двор. Крикнула старуха.

—Эй, вы, птицы небесные, высоко летаете, далеко видите!

Слетелось тут птиц видимо-невидимо. Солнышко загородили. Просит их старуха посмотреть, нет ли ножа с медной ручкой на небе. Облетели птицы все небо и вернулись ни с чем.

Позвала тогда старуха зверей, попросила их нож Жогши сыскать. Звери под каждый кустик заглянули, каждую травиночку обнюхали, каждую норку пролезли: нет ножа.

Пошли старушка с Минькой-волком к озеру. Позвала она рыб, попросила уважить ее, найти нож колдуна.

Рыбы все глубокие омуты просмотрели — нет нигде ножа.

Развела старуха руками. Как тут быть? Понурился Минька-волк. Вдруг рак на берег выползает, старый-престарый, в клешне нож заветный держит. Обрадовалась старуха, Минька-волк от нетерпения лапами землю зарыл.

Поблагодарили они рака и пошли тот самый злосчастный пенек искать. Пока искали, стемнело, и луна вошла.

Воткнула старуха нож в пенек, пошептала что-то над ним и говорит:

— Давай прыгай через него, тока теперича с обратной стороны.

Прыгнул Минька-волк, перекувыркнулся, упал в траву. Чувствует: когти в ногти превратились, лапы — в руки, и волчья шкура враз слезла.

Обрадовался Минька, засмеялся, в пляс пустился. Улыбается старушке, мол, потешься, что уж тут. Хорошее дело получилось.

Поклонился Минька старушке в пояс, поблагодарил, домой-де надо возврататься.

— Да нет, — говорит старушка, — еще не время тебе со мной прощаться. Измучена твоя душа, грехи не угадывает. Должна я тебя уму-разуму научить, чтоб от тебя людям помощь была.

Захурбенился было Минька, но потом поразмыслил, а ить права старушка: страшная сила у Жогши, его на дурака не возьмешь.

Остался, значит, Минька у старушки знахарские науки постигать. Большое терпение в этом деле проявил.

Однажды старуха ему и говорит:

— Вот теперича пора тебе возврататься. Запомни на всю жизнь: наше дело — людям помогать, со злом бороться. Иди, как раз на праздник попадешь.

«Что за праздник такой», — подумал Минька, но спрашивать застеснялся.

Благословила его старушка. И отправился Минька в путь-дорогу.

Пришел он в станицу, а там никак свадьба идет. Жогша племянника своего на Татьяне женит. Скрепил сердце Минька и напрямиком к дому колдуна направился.

Заходит в хату. Грустная, однако, свадьба у колдуна получается. Гости сидят приструненные, веселых речей не говорят, шуток-прибауток не слышать. Татьяна бледная за столом сидит, щеки яблочные опали. Встал Минька у дверей и стоит. Поднял Жогша глаза на него, передернулся, продрало, видать, его.

— Двум медведям в одной берлоге не ужиться, — говорит колдун.

— Так-то, медведям, — отвечает Минька, — а мы же люди.

Итак беседа у гостей не клеилась, а тут совсем приутихла. Смотрят все на Миньку, что за гость? Не угадывают.

Встала Татьяна из-за стола, рюмку водки Миньке поднесла. Глаза у нее невидящие. Эх, Жогша, Жогша, сколь ты горя сотворил! Выпил водку Минька, а пустую рюмку через левое плечо бросил.

Вопль раздался страшный. Глянули гости, а Жогша к потолку задницей прилип и отлепиться не может, руками-ногами сучит.

— Отпусти меня, — просит.

— Я тебя раз отпустил, — говорит Минька, — вона как все обернулось.

Упал Жогша с потолка: по-лягушечьи запрыгал, кочетом закукарекал, по-свинячьи захрюкал, по-змеиному зашипел.

Тут Татьяна как закричит, видать, чары колдовские с нее сошли.

— Минечка, болезный мой, кровинушка моя! Возвернулся!

Того и гляди, сейчас упадет. Подхватил ее Минька. Повскакивали гости. Миньку тормошат, обнимают. Гляди ты, докой заделался! А тут все думали, что запропал уже в дальней стороне.

Когда хватились — нету Жогши, А вроде из хаты никто не выходил. Один племянник колдуна за столом как оплеванный сидит, губами шлепает, слова сказать не может.

— Ну-ка, ищите то, чего в хате не было, — скомандовал Минька.

Начали осматривать хату люди: кто его знает, что тут было, чего не было. Заметил Минька под столом осиновый колышек. С пола поднял.

— Нашелся-таки, — говорит.

Вытащил Минька нож с медной ручкой, колышек обстругал и за дверь его выбросил. Застонал кто-то во дворе, заохал. Высыпал народ из хаты. Нету никого.

Минька Татьяну обнимает. А та с него глаз не сводит. Ластится.

Говорит Минька:

— Пойдемте, гости дорогие, мою свадьбу доиграем. Чай, не напрасну собралися.

Одноглазый змей.

Проводила Аксинья своего мужа Петра на войну. Месяц прошел, другой. Нет от него весточки. Тревожно ей, не спится. Черные думы одолевают. Сидит Аксинья как-то ночью у окна. Луна такая большая, полная, льет в окрест серебром. И решила казачка по луне погадать, про мужа разузнать. Сидит и ждет, что же ей покажется.

Вдруг видит по лунному свету ручеек окровавленный заструился, да прямо ей в окошко и по полу лужицей растекся.

Застонала Аксинья: дурная примета. В сердце незнаемое горе проникло. Горько ей стало. Хуже смерти! Такое горевание на нее навалилось. Расплакалась-разрыдалась казачка.

Как-то раз на сенокосе Аксинья шурудит граблями траву, а сама думает: «Вот бы Петр вернулся, и красное солнышко для меня снова б засветило». Только подумала, подняла голову, видит, Петр на коне с горки едет. Ручкой ей машет. Одетый чисто, во все форменное. У коня грива длиннющая-длиннющая по земле стелется. Бросила Аксинья грабли и к нему навстречу побежала. Петр с коня прыгнул. Припали они друг к дружке, слов от счастья не находят. Конь около их топчется, ржет. Аксинья возьми да спроси:

— Что это у коня грива такая длиннющая?

Петр отвечает:

— А на войне у всех так. Нашла о чем спросить.

Засмеялась Аксинья:

— И вправду, что это я. Слава Богу, что вернулся жив и здоров.

Хватилась — нету никого вокруг: ни Петра, ни коня. Стоит она в лесу и дерево обнимает. Знать, привиделось ей все.

Не до работы Аксинье стало, пошла она домой. Калитку открыла. Видит через окно, в хате Петр сидит, чай пьет. «Как он туда попал, — подумала Аксинья, — дверь-то на запоре». Отперла дверь, в хату вбежала: нету никого. И посуда вся на месте, нетронутая. Туда-сюда заглянула: нету, никогошеньки нету. Опустилась казачка на пол без сил, заплакала.

Вечером корова с пастбища пришла, мычит, хозяйку требует. Хочешь, не хочешь, а вставай. Буренку доить надо.

Зашла Аксинья в хлев, только было наладилась корову доить, за титьки ухватилась, слышит, сверху по сеннику ходит кто-то. Она ведро на гвоздок повесила, взяла фонарь и по лесенке вверх полезла. Видит, из сена сапоги торчат, верно человек лежит.

— Петр, это ты? — спрашивает Аксинья. Молчание в ответ.

— Откликнись, Христос с тобой!

Сено зашуршало, сапоги исчезли, и дверь в хлеве ветром отворило.

Ну, ладно. Голова у Аксиньи горит, кругом идет, как в бреду, а страха в душе не чувствует. Подоила она корову, молоко процедила, поужинала и спать легла.

В полночь слышит Аксинья, в сенях зашаркал кто-то. Дверь отворилась: нету никого. Вдруг одеяло с Аксиньи слетело на пол, и кровать сдвинулась. Встала казачка, лампу засветила. Петр перед ней стоит.

— Ты живой? — спрашивает Аксинья.

— Видишь, живой остался, — отвечает Петр. — Иди коня устрой, а я пока разберусь.

Вышла она во двор, коня расседлала, в стойло поставила.

В хату вернулась, а Петр уже в постели лежит, к себе манит. Легла с ним Аксинья и как бы сама не своя: вроде бы и ее Петр, а вроде бы и нет.

А он к ней ласкается. Услаждает речью лебединою. В горячих объятиях заигрывает. От его поцелуев горит Аксинья румяной зарей. От его приветов цветет красным солнышком. Такого молодца и не любя полюбишь. Лежат они в постели. Она ему руки в кудри буйные запустила, пальцами по голове водит.

— Ой, Петр, — говорит, — у тебя голова-то вся в шишках, волнистая такая.

— Меня, — отвечает Петр, — как на войну взяли, так тока раз в бане и вымылся. Опаршивели мы там все.

— Так давай я тебе баню истоплю.

— В другой раз, — говорит он, — сейчас не досуг.

Удивительно это Аксинье, но она ни слова, ни полслова не сказала.

На рассвете прощается с ней Петр и говорит:

— Ты никому обо мне не говори. Я крадучись к тебе буду ходить.

К вечеру ближе одолевают сомненья Аксинью: ее ли это Петр? Перед тем, как спать ложиться, взяла она золы и рассыпала по полу.

В полночь пришел опять Петр. Ласкается опять к Аксинье. Любится. Расстаяли у нее сомнения, как прошлогодний снег. На рассвете ушел Петр. Утром смотрит Аксинья, нет следов на золе. Неужель нечистый дух к ней ходит. Закручинилась казачка, что делать — не знает. Весь день по двору прометалась, работа из рук валится.

А ночью Петр заявился. К ней подступает. Она от него. Он опять к ней. Она от него.

— Ты что меня боишься? — спрашивает Петр.

— Нет.

— Тогда собирайся, я за тобой. Нечего тебе здесь одной мучиться.

— Сейчас, — говорит Аксинья, — я только вещи собираю.

А сама думает: «Вот она, моя погибель пришла». Собирается она в дорогу, а Петр ее торопит.

— Долго я тебя ждать буду?

— Счас, — говорит Аксинья, — бусы никак не найду.

Нашла она бусы и незаметно нитку порвала, рассыпала бисер по полу. Начала Аксинья бусинки собирать.

— Э-э, да это долгая песня, — говорит Петр.

— Не могу бусы бросить, ить матерна память.

Собрала она весь бисер, только одной бусинки не хватает.

Кочеты тут закричали, топнул ногой Петр, рассыпался искрами и исчез.

Чуть заря зарумянилась, побежала Аксинья к бабушке-знахарке. Рассказала ей все, как есть.

Вот знахарка ей и говорит:

— Да это не муж твой вовсе, а огненный змей к тебе летает.

Расплакалась Аксинья, грех-то какой! Что делать? Посоветовать знахарку просит.

— Ты, — говорит старушка, — крестов на двери, на окна наставь, а сама сиди, молитву читай. Звать тебя будет змей, не откликайся.

Пошла Аксинья домой. Мелом наставила крестов на окнах да дверях и печную заслонку не забыла, крестом пометила. Как только свечерело, стала Аксинья на колени и начала молитву творить.

В полночь прилетел огненный змей, рассыпался искрами. Ходит вокруг дома, топотит, зайти просится, ласковые речи говорит, упрашивает. Не слушает его Аксинья, поклоны бьет.

Разозлился огненный змей, стал хату валить. Зашатались стены, затрещал потолок, вот-вот обрушится.

Аксинья даже и не шелохнулась.

— Ладно, что догадалась, — говорит огненный змей, — а то не быть бы тебе живой.

И улетел. И больше не объявлялся.

Аксинья после этого вроде на поправку пошла. Однако ж нет-нет да и вспомнит Петра и залыется горячими слезами. Пусто на душе ей без мужа, нету жизни.

Оседлала она лошадь и пустилась в путь-дорогу. «Где бы ты ни был, — думает, — все равно я тебя найду».

И вправду нашла. Видит Аксинья, над одним местом воронье кружит. А рядом боевой конь ходит, воронье отгоняет. Подошла поближе. Петр бездыханный лежит. Весь изранетый.

Села около него казачка и в голос закричала.

— Друг ты мой милый, любимый! Болечка кровный, привалил ты мое сердечушко гробовым камнем тяжелым. Засохну я без тебя, желанный мой, как былинка одинокая! Запекутся, поприсохнут губы мои, не целуючи тебя, ненаглядный мой! И змеей тоска сосет сердечушко мое! Так бы и лег в сыру землю, так бы и расшибся о камень в степи немой! Горькая я кукушка в зеленом садочке...

Вдруг чувствует Аксинья — кто-то тронул ее за плечо. Обернулась она и видит сквозь слезы, стоит перед ней побирушка. Старая-престарая. Уродина горбатая.

— Разве такому горю криком поможешь, — говорит побирушка.

— Я бы, — говорит Аксинья, — все отдала, лишь бы мой сокол сизокрылый жив был и здоров.

Заинтересовалась побирушка и пытается Аксинью:

— Отдала б, не задумалась? А молодостью да красотой своей поступишься?

— Отчего не поступиться, — говорит казачка, — ради милого друга. Мне все равно без него жизнь не в жизнь.

— Тогда я тебе помогу, — говорит побирушка.

— А как же я тебе молодость и красоту отдам?

— Это моя забота, сама возьму. Так они и сладились. Полезла побирушка в суму, вытащила два пузыря.

— Вот тебе вода мертвая, а это, — говорит, — вода живая.

Как взяла Аксинья пузырьки, видит — руки морщинами покрылись, затряслись. А побирушка на глазах стала меняться. Смотрит на нее казачка и думает: «Неужели я такая статная да красивая была? Никогда о себе так высоко не думала».

Побирушка спрашивает:

— Ну как, ни о чем не жалеешь?

— Да о чем жалеть, — отвечает Аксинья, — дело сделано.

Залезла побирушка на лошадь и поехала прочь.

А Аксинья обмыла раны Петру мертвой водой. Заросли раны, будто их не было. Окропила его живой водой.

Вздыхнул казак. Глаза открыл.

Видит, сидит перед ним старуха, страшная уродина. Сдержал себя Петр.

— Спасибо, мать, что разбудила.

С земли вскочил. Говорит:

— Легко-то как! И засмеялся.

— Домой пора. Жена меня заждалась.

Свистнул своего боевого коня. Вскочил на него одним махом. Видит, у старухи слезы льются.

— Ты что, мать, закручинилась, слезы льешь? Може, чем подсобить?

А та в ответ:

— Мне от этой жизни ничего не надо. Всем я довольна. А слезы от старости сами льются.

— Ну, тогда, — говорит Петр, — прощевай. Не поминай лихом.

— Прощевай, — говорит Аксинья. И рукой ему махнула, поезжай, мол, с Богом, не до тебя тут.

И поехал казак в одну сторону, а старуха пошла в другую.

Своенравная жена.

Жил-был казак по имени Игнат. Сам из себя видный. Здоровенный такой, батареец. Усы торчком. Грудь колесом. Об лоб хоть поросенка бей, ему хоть бы что! Всем казак взял. Вот настала пора жениться. Приглянулась ему одна молодлица. Маленькая такая, худенькая. И лицом не вышла. И чего он в ней такое нашел? Вся родня против была, а Игнат уперся на своем, хоть кол на голове теши.

— Люба она мне, и все. Если не посватаете, совсем не женюсь.

Делать нечего, если такая любовь. Кто ж устоит. Поженили их. День живут молодые, два, песни поют. На третий спор у них вышел. Жена-то хоть с виду незавидная, характер до чего ж вздорный имела. Игнат ей слово, она ему два. Он ей два, она десять в ответ. Скажет он, к примеру: «Свари щец». Так она кашу сварит. Он ей: «Хочу блинов с каймаком». А она щей наварит.

И пошла у них жизнь. Пупырыть на пупырыть. Не жизнь — мученье. «Ну ничего, — думает Игнат, — ты настырная, а я тебя настырней».

Вот и показывают друг перед дружкой свою дуроту. Как заведутся, бывало, он ей — брито, она ему — стрижено. Только в песне и сходились. Бывало, как заиграют, вся станица слушает. Это, мол, у Игната во дворе так заливаются. Пошли они как-то в соседний хутор к свояку в гости. Оделись празднично. По дороге опять стали спорить да ругаться. Он ей — брито, она ему — стрижено. Речку надо было перейти. А мосточек жидковат. Гляди, вот-вот развалится. Игнат перешел через мосток первым. И с того берега ей кричит:

— Смотри, на мостке не тряпись. Неровен час развалится, в речку угодишь.

А жена как до середины моста дошла — и ну раскачиваться да прядать. Мост и развалился. Жена камнем на дно. Игнат в чем был за ней сиганул. Течение быстрое, относит. Нырлял, нырлял, все без толку. Вылез на берег, кручинится. И пошел к тому месту, где происшествие случилось. Идет и говорит в сердцах:

— Говорил я тебе, дура, брито — значит, брито.

Слышит, а из-за кустов ему в ответ:

— Говорила я тебе — стрижено.

Глядь, а жена его жива-здоровая у кустов стоит, подол отжимает. Невдомек было Игнату, что его жена против течения выплывет. Разозлился казак, аж затрясся весь.

— Ах ты, такая-сякая! Чтоб ты пропала!

Смотрит: нет жены. Куда девалась? Походил-походил вокруг да около, под каждый кустик заглянул. Нет жены, пропала. Горевать не стал. На сердце столько уж накопело. Не горюется. Пошел казак домой. Соседям говорит:

— Пропала жена. Нету. Может, утонула, а може, сквозь землю провалилась. Не знаю.

День прошел, другой. Совестно стало казаку. Как-никак, а все ж жена. Оседлал лошадь. Приехал к тому месту, где с его женой такие чудеса произошли. Видит: на том месте, где жена стояла, деревце выросло.

Приклонился он к нему. Загоревал.

— Говорил я тебе, брито — значит, брито, не послушалась.

А дерево ему в ответ жениным голосом:

— Говорила я тебе, что стрижено, значит, стрижено.

Схватил казак в сердцах деревце, как травиночку, из земли выдернул с корнем, бросил. И поехал домой. И не заметил, как его лошадь пару листочков с деревца прихватила. Дома расседлал лошадь. И говорит:

— В кого она у меня такая своенравная уродилась. Говорил же я ей, так нет.

А лошадь ему жениным голосом:

— Стр-р-рижено.

У казака от этого слова земля кругом пошла. Отдышался немного. Взял лошадь за узду и в табун отвел. Пастухам наказал, чтоб глаз с нее не спускали.

— Я, — говорит, — пока пешки похожу.

На следующий день табунщик шкуру лошади казаку приносит.

— Вот, возьми, — говорит, — с яру твоя лошадь сиганула. Не досмотрели.

И ждет, когда Игнат ругаться начнет. А Игнат шкуру принял, слова в укор не уронил. Только облегченно

вздохнул. Зашел в курень, бросил шкуру на пол и прилег отдохнуть. Ну, думает, все, конец потехе. По-моему вышло. Если брито — это не стрижено. А шкура ему вдруг жениным голосом:

— А стрижено — это не брито.

Вскочил Игнат как ошпаренный.

— Все равно, — кричит, — я тебя доконаю. Потому что ты у меня, как кость, поперек горла стоишь.

А шкура заладила:

— Стрижено! Стрижено! Стрижено!

Схватил Игнат шкуру, в печку сунул. Огонь раздул. Соломки подбросил. Запылала шкура. В один миг сгорела.

Ночью заснул Игнат мертвецким сном. Сквозь сон слышит: кто-то шепчет ему: «Стрижено, стрижено». Думает, чудится ему. Однако сон как рукой сняло. Прислушался. А из печки голос женин шепчет:

— Стрижено...

Догадался Игнат. Зола ему такие поганые слова нашептывает. Смутило казака. Вскочил. Золу из печки выгреб.

Печку по кирпичику разметал да за базы выбросил. Взял Игнат мешок с золой. Вышел на улицу. Рассветать начало. Куда бы, думает, эту поганую золу выбросить? Ходил-ходил. Яму нашел. Бросил туда камень. Дна нету. Самое-то то, думает. Отсюда тебе, дорогая женушка, никак меня не достать. И бросил туда мешок. Как камень с души снял.

Домой вернулся довольный. Отоспался. Отъелся. Вроде бы жизнью довольным надо быть. Так нет, какая-то на сердце маета. Сник казак. Телом опал. Усы отвисли. «Промашка у меня в этой жизни вышла, — думает. — Пойду в яму сам брошусь. Все равно без нее не житье».

Подошел к яме. Пригорюнился.

— Соловушка, — говорит, — ты моя певучая, не слышать мне более твоего голосочка.

Только было собрался, слышит — гул в яме стоит. Крики. То ли кто плачет, то ли кричит не своим голосом.

Выскакивает из ямы черт. Шерсть клочьями, хвост поджат. Плачет, слезы размазывает.

— Забери свою жену, — говорит. — Нет нам житья в нашей преисподней. Ад крошечный. Мы тебе впридачу золота дадим. Сколько хочешь.

Обрадовался казак.

— Не надо мне золота, отдайте мне мою женушку. Так мне без нее пусто на сердце!

Глядь — стоит перед ним жена. Жива-здоровая. И говорит:

— Стрижено.

А казак головой кивает: ага, мол, стрижено. Сам руки к ней тянет. Норовит обнять. А та не дается.

— Ну, если, — говорит, — стрижено, тогда брито.

Казак опять соглашается.

— Брито.

Жена руками машет.

— Мне, — говорит, — с чертями интересней жилось.

Еле-еле казак уговорил ее домой вернуться. Зажили они с тех пор припеваючи. Захочет казак, к примеру, щец, шумит жене:

— Свари мне каши.

Она ему щей наварит. Захочет блинцов с каймаком. Шумит ей:

— Хочу щей.

Глядь, а блинцы с каймаком уже на столе. Не жизнь, а сплошное удовольствие. Раздобрел казак. Грудь колесом. Усы торчком. Смотрит соколом. Соседи завидуют — до чего же ладно живут.

Вот как-то раз приехал к ним с соседнего хутора свояк. Еле на ногах держится. Посмотришь на него — подумаешь, в гроб краше кладут.

Пока лошадей распрягали, Игнат у него интересуется:

— Никак, кум, на тебе черти воду возили?

Вздохнул свояк и в ответ:

— Угадал. Завелась в нашем хуторе нечисть, ни днем ни ночью покоя не дает.

Подумал Игнат. Ус потерял. И говорит:

— Этому горю только жена моя поможет. Счас, — говорит, я с ней словом обмолвлюсь, только в разговор не влипай. Жена, — кричит, — кум приехал, в гости зовет, да мне что-то не больно хочется.

А та в ответ:

— Еще чего! Надо поехать, если зовет. Не чужие-ть.

— Ладно, — соглашается Игнат, — тогда я один поеду. А ты останешься. За хозяйством присмотришь.

— Еще чего. Вместе поедем. За хозяйством соседка присмотрит.

Слушает кум, удивляется.

Собрались они. Принарядились. И чин чином в гости покатили. Только в хутор заехали, как увидели черти жену Игната, и ну деру кто куда. Народ на улицу вышел. За спасенье Игната благодарят. А тот слушает, усмехается да помалкивает. Женушку свою обнимает. Смотрит не насмотрится. Хороша жинка! А вам по нраву?

Суженая.

Вот один казак уже действительную отслужил, а все неженатым был. Эта ему девка не так, а та — не эта. Раз его отец здорово осерчал и говорит:

— Евлоха (а его Евлохой именовали), или зараз женишься, или я тебя вовсе не женю.

В ответ Евлоха тока плечами пожал.

Мать у печки расстроенная стоит, опять махотку разбила. Руки-то уже не те стали, ухват не держат.

— Иль не вишь, — говорит отец, — старые мы уже с матерей, в доме помощница нужна. Мать запоном утирается.

— Дюже ты тинегубый. А мне на старости с внучком побаловаться хочется.

Вздыхнул казак тяжело. Нету у него к девкам интересу. Сказать бы, что больной какой иль калека, так руки-ноги целы, глянешь на него — молодец молодцом.

В те времена родительское слово было крепкое. Как батяня сказал, так оно и будет: не даст благословения, если с этим делом еще потянуть.

Пошел, Евлоха на посиделки. То на одну девку посмотрит, то на другую. Все они одинаковые, и в каждой свой изъян есть. Не расцветает у казака душа, на них гляючи, не замирает сладко сердце. День ходит на посиделки, другой — никакого толку. Ни одну девку себе не присмотрел.

Помаялся казак еще один день. Наконец не выдержал родительских укоров, оседлал коня, да поехал суженую искать.

А это тогда считалось делом пропашим: если в своей станице девку не облюбовал, в другой — не каждому отдадут.

Вот, значит, едет Евлоха от станицы к станице, да все без толку, ни одна ему девица не глянулась. Видит он как-то, посреди дороги девка стоит. Замухореная нечеса, лохмотами тока-тока срамоту свою прикрыла. Про таких в народе говорят: такая красава, что в окно глянет — конь прынет, во двор выйдет — три дня собаки лают.

— Возьми, — говорит, — меня с собой.

— А кто ты така есть, чтобы я тебя с собой брал? — спрашивает ее Евлоха. А та отвечает. Да так уверенно:

— Я суженая твоя.

Дрогнуло сердце у казака от таких слов, но виду не подал. Рассмеялся.

— Больно прыткая. Ко мне девки клонились — не тебе чета и то ни одна не глянулась.

— Поэтому тебе до сих пор никто не глянулся, — говорит девка, — что я твоя суженая, а ты мой единственный.

«Вот заялдычила, — думает Евлоха, — твердокаменная какая». И спрашивает:

— Почему ты знаешь, что я твой единственный?

— А ты ко мне каждую ночь во сне приходишь.

Повеселел казак.

— Ну, я-то крепко сплю. Сны мне не видятся.

А сам думает: «Не приведи, господи, чтобы такая приснилась».

— Возьми меня, — говорит грязнуха, — не пожалеешь.

— Еще чо! — возмутился казак. — Не возьму, и не проси. Уйди лучше с дороги.

Молчит грязнуха, но с дороги не уходит. Глянул на нее Евлоха еще раз: уж дюже неприглядная. Запротивелось у него в душе, забрезгало.

— Не балуй, — говорит, — уйди!

И хотел казак ее объехать. Да никак! Не идет конь. Встал как вкопанный. Казак его в шенкеля. Да плеточкой.

Не идет. Что за наваждение? Подрастерялся Евлоха. В пот его кинуло. И говорит:

— Мне все одно с тобой не по пути.

Повернул коня и пустил его в галоп в обратную сторону. Сколько проскакал, перешел на рысь. В досаде весь. Что за случай такой вышел?

Увидел казак, церковные купола виднеются: знать, станица недалече. «Доеду, — думает, — до станицы, в церкву схожу. И попрошу Господа дать мне встренуть свою суженую».

Доехал. Солнышко блескучее. Погода играет.

Подъехал к храму. С коня слез, на себе порядок навел. Заходит: народу никого. Полумрак в церкви, тока свечи горят. Тихо. Спокойно на душе у казака. Упал Евлоха на колени перед иконами, долго молился. Вдруг слышит за спиной шепоток. Оглянулся: нету никого. А голос-то вроде бы знакомый будет. Никак опять она — та самая замараха. Страсть вошла в казака, заиграла в его душе досада.

Вышел из храма. Ветер тут поднялся. Пылью Евлоху обдал. Солнце тучей заслонилось. Зябко казаку стало, нехорошо.

Вскочил казак на коня и поехал прочь от станицы. Мысли тревожные. Долго так ехал. Очнулся. Вроде смеркаться начало. Надоть где-то на постой останавливаться. Видит, копешка сена стоит. Чем не ночлег? Зарылся в сено, веки смежил. Не идет сон. А тут луна вышла полная. Льет белым светом на всю округу, не дает покоя.

Вдруг слышит, сено зашелестело. Чой-то? Може конь? Потом чья-то рука по лицу его — лап. Раз да другой. Занемел Евлоха. Ни рукой двинуть, ни слово вымолвить. И голос. Суженый мой... Ведьмака! Схватил казак шашку и махнул сгоряча. Застонала дева, заохала. Закричала-запричитала. Зацепил ее, видать, казак шашечкой-то.

Слетел Евлоха с копешки. Колотит его. Холодным потом обдает. Призвал коня. В сторону копешки не оглядывается. Боязно. На коня. И в бега.

Остальную дорогу сделал наугад.

Долго кружил по перелескам да по займищам, пока сердце свое успокоил. Ишь, какая ведь повадливая девица оказалась! Видит, вроде костерок на поляне горит. И люди об чем-то гутарят. Подъехал потихоньку. Прислушался. Понял — разбойники добычу дуванят. Двое себе золото-серебро поделили. А молодому девица досталась. Молодой разбойник возмущается: зачем ему такая девица, иль в воровстве он не первым был. И до драки дело доходит. Вот-вот сцепятся.

— Ну, коль она тебе не нужна, то мне в самый раз, — прошептал Евлоха.

Вынул он пистоль и стрелил вверх. Крикнул-гукнул. Разбойники наутек кинулись. А казак девицу подхватил на коня и айда прочь от этого места.

Едут они. Девица припала к нему. Сердечко бьется часто, как у воробья. Разнежился казак. Обнял ее покрепче. И подумал: «Вот она, суженая моя». Слышит, она ему шепчет: «Говорила я тебе, что твоя суженая». Ба! Да это ж та самая девка-грязнуха. Да что ж за напасть такая, Господи! Ссадил казак ее с коня, словно мешок сбросил.

— Доняла ты меня измором!

И опять в бега кинулся. Долго ли, коротко ли времечко прошло, вернулся Евлоха домой насупоренный. Не нашел, кого искал. Мать его встречает. Посмотрела на него, головой покачала. Что тут говорить, единственное дитяtko и так понять можно.

Видит казак, девица по двору ходит. Спрашивает у матери:

— Кто така?

— Да работница наша, Маруня. Сиротинка. Пришла к нам в хату. Грязнуха-грязнухой. А счас гляди, какая чисторядная. Работа в ее руках так и горит.

А Евлоха уже матерю не слушает. Насторожился. Подошел к девице. Уставился на нее. Желваками играет. Плеточкой помахивает.

— Кто така, говори?!

— Кто така, не знаю, — отвечает она, — сирота я, с малолетства по людям ходила.

Смекает Евлоха, голос вроде бы не тот, что у грязнухи. Та натужно говорила, а эта будто колокольчиком прозвенела. И лицом Маруня бела, и чисторядная, и скромная, видать, вишь глаза потупила.

Отошел Евлоха от Маруни, говорит матери:

— Ничего девка, узюмная.

Матери эти слова по сердцу.

— Мне Маруня уже как родная стала, — говорит мать. — Ты к ней приглядишь. Как раз по тебе девка, право слово.

Махнул казак рукой: мне, мол, все равно. И пошел с дороги прилечь.

Вечером отец с поля приехал.

— Женить его надо. Нечего более с этим делом тянуть.

Сказал, как отрубил.

Собрал отец на совет всех родственников. Позвали Евлоху. Отец спрашивает его:

— Кого за тебя будем сватать?

Отвечает Евлоха:

— Лишь бы для вас была хороша, а для меня будет.

— А ты своего ума-разума приложи.

— Я из вашей воли не выхожу.

— Ишь, какой слухменный сделался! Иди! Совет будем держать.

Судили-рядили. Так-сяк. Жена не сапог, с ноги не снимешь. Порешили: пусть жребий тянет. Ему век вековать. Пусть на себя и пеняет, если что не так.

Написали на бумажечках имена всех девок станицы, что на выданы. Мать настояла, чтоб и Маруню туда тож вписали. Свернули бумажечки трубочками и положили в красный угол, под иконами.

На том и разошлись.

Чуть свет подняли Евлоху родители. Помолились. Взял Евлоха жребий. Развернул. А там Марунино имя вписано. Вдруг защемило у казака сладко на сердце. Облегчение на душе. Как будто ждал этого.

Сели за стол. Маруню пока не зовут. Отец покрякивает. Мать довольна: по ее получилось.

— Ну, что ж, — говорит отец, — она с виду приятная, походка ровная, да не дура, кажись.

Мать ему вторит:

— Невеста справная, работающая и смиренная.

Посмотрела на хозяина: чтой-то он насупурился. И слукавила:

— Мужу жена будет хороша, да мне, грешной матери, каков почет будет?

И всплакнула. Ключнул на приманку отец. Согбенную спину разогнул. Бороду огладил. Глазищами сверкнул.

Есть еще сила в казаке. На убыль не вся ушла.

— Не бойся, старуха, я-то на что? Из-под моей руки не вырвется.

И хлоп! — по столу кулаком. А матери того и надобно.

— Ладно, — говорит. И вздохнула облегченно.

Еvloха рядом стоит. Кубыть это дело его не касаемо.

Позвали Маруню. Спрашивают: согласна ли за Евлоху замуж иттить?

Та глаза потупила и отвечает: согласна, мол. И вышла. С достоинством, кубыть дело это для нее давным-давно решенное.

В день свадьбы поехали молодые в церковь. Там батюшка их спрашивает:

— Дружелюбно ли венчаетесь?

— Дружелюбно, — отвечает Евлоха.

— Дружелюбно, — вторит ему Маруня.

Стали колечками меняться. Сомнения опять запали Евлохе в душу: увидел он шрам на руке у своей невесты.

Приехали домой. Пир горой. А Евлоху беспокойство маит. На Маруню не смотрит: ему не до веселья.

Наконец, решился выйти. Дружка его не пускает: не положено.

— Да мне, — говорит Евлоха, — до ветру. Я мигом. А то нутро от угощений себя оказывает.

Побежал он в баню. Обыскался. А все одно нашел, что искал. Вот они, лохмоты Марунины. Они самые. Бросил их Евлоха в печь. И вернулся к невесте.

Та спрашивает:

— В бане был?

И улыбается.

— Ага, был.

— Говорила я тебе, что суженая я твоя.

Вздохнул Евлоха с облегчением, тож разулыбался.

— Да, видно наши жизни с тобой давно пересеклись.

Тут гости горько закричали.

И поцеловались они.

Правду в народе говорят: суженую конем не объедешь. Кому кака доля достанется, так все и сбудется. И кому на ком жениться — как показано, так и будет. Хоть вы за тридевять земель будете — ничего: сыщете друг друга.

Султанская дочь.

При царице это было, Катерине. Объявил турецкий султан Махмет войну. Позвала она на помощь казачков. Защитите, мол, землю русскую от бусурманской напасти. Дело привычное. Собрались казачки всем миром — и млад, и стар и пошли на защиту разлюбезного отечества.

И был среди них парень молодой по имени Родион. Необстрелянный еще. Тока-тока из малолеток вышел. И случилась с ним такая вот история.

Хотелось парню себя показать, перед товарищами утверждение заиметь. Рвался казачок то в разведку, то провиант у неприятеля отбить, на худой конец, в дозоре постоять.

Говорили ему станичники, вразумляли:

— Погодь, парень. Форсу в тебе еще много. Жизнь протянется, всего достанется.

Держали Родьку в обозе. Вместе с казаками, что в возрасте были, с перестарками.

Переживал Родька: никак его станичники за труса почитают. Не выдержал, ушел, не спросясь, в тыл к противнику.

Думает: «Вот возьму в плен султана турецкого иль, по крайности, его визиря. Простят тогда мой грех и награду дадут».

Недалече ушел Родька от наших позиций. Пикнуть не успел, как был схвачен янычарами.

Доставили Родьку прямо во дворец к самому Махмет-султану. Под его грозные очи. «Эх, — думает Родька, — виноватый я кругом. Пропадать, так не спросту. Ну, погодьте, гололобые». Взял под козырек да как гаркнет:

— Здорово, братцы!

Смотрит на Родьку султан, удивляется. Казаки в плен не даются, а этот, почитай, что сам пришел.

— Зачем, — спрашивает Махмет, — к нам пожаловал?

Родька сапожок вперед выставил: эх, была ни была.

— Хотел, — отвечает Родька, — тебя в полон захватить и до наших довести.

Говорит Родька, а у самого сердце, как заячий хвост колотится.

Загототали гололобые, и сам Махмет-султан заулыбался. Видно, понравился ему Родька, безрассудная головушка. Молод да горяч, вот таких бы молодцов ему поболее. Хлопнул султан в ладоши. Принесли яства диковинные, вина заморские.

— Садись, — говорит Махмет-султан, — отведай с нами.

— Это можно, — отвечает Родька. И сел рядом с султаном. Стали они угощаться. Наелся Родька, пузо трещит.

Говорит ему Махмет-султан:

— Родивон, переходи ко мне служить, я тебе за это сто рублей положу.

— Сто рублей — деньги не малые, сто рублей сразу не наживешь, — отвечает Родька. — Тока я не согласный свою отчизну продавать.

И этот ответ пришелся по душе Махмет-султану.

Скоро за чайком да сигарочкой совсем сошлись.

— Хочешь, — говорит султан, — дочь свою любимую, Айлюк, замуж за тебя отдам?

Хлопнул в ладоши.

Дочь в залу вошла. Ничего. Красовитая. Чернявая. Да уж дюже худа. Как взглянула на Родьку, так и глаз своих ни разу не отвела от него.

А Родька чо? Родька ничо. Подбоченился. Знамо дело, приятно, когда на тебя девка глаза тарачит.

— Ну, что, Родивон, — спрашивает султан, — оболваним это дело?

— У меня, — говорит казак, — в станице девка на примете имеется, так что не обессудь.

Заплакала султанова дочь, из залы выбежала. Нахмурился султан и говорит:

— Коли дело наше с тобой расходится, посиди малость в тигулевке, поостынь.

Посадили Родьку в тигулевку. Сидит он, томится. Вдруг кто-то через окошко ему бумажку кинул. Развернул Родька бумажку, а это письмо.

От самой дочки султановой.

Пишет ему Айлюк, так, мол, и так, полюбила я тебя до беспамятства. Тока о тебе и думаю, ночи не сплю. Если любя я тебе, ответь, а если нет, то не тревожься и меня не май.

Посидел Родька, подумал. Что делать? Надо из положения выходить. И решил казак покривить душой. Нашел уголек и нацарапал ответ. Если, де, люб я тебе, помоги мне утечь отседа. Подадимся в наши края. Там нам самое место. Будешь мне женой, а я тебе мужем. А в сердце ты мое запала еще с первого взору. Только казак ответ писать закончил. Видит через решетку рука просовывается. Сунул Родька свое послание в ладонь. И вздохнул с облегчением. Сердцем повеселел. Вот она, надежда, заблестела вечерней звездой. Через сколько времени получает Родька записку. Жди, мол, в полночь.

Измаялся Родька, места себе не находит. Дождался наконец полночи. Замок щелкнул, дверь открылась. Вбежала Айлюк в тигулевку. К Родьке припала. Радуетя. Плачет. А Родька ее торопит. Время, де, не терпит. Вышли они из тигулевки. Стража спит вповалку. Вскочили они на горячих коней. И в бега вдарились.

Всю ночь скакали. Звезды поблекли. Остановила дочь султана своего коня.

— Послушай, — говорит, — нет ли за нами погони.

Слез Родька с коня, ухом припал к земле. Топот лошадиный слышит. Гудит земля.

— Идет, — говорит, — за нами погоня. Вот-вот близехонько будет.

Вытащила Айлюк гребень и бросила назад через левое плечо. И вырос лес сзади них. Деревья вековые стволами друг о дружку трутся. Поскрипывают. Ни пройти, ни проехать. Чудеса чудесные. Повеселел Родька. Улыбается ему судьба, до дому ведет. Вскочил на коня. И поехали они дальше.

Время уже к полдню клонится. Пали у них кони. Пошли они пешки.

Видит Родька, никак впереди наш стан. Казачки в круг расположились. Дело какое-то обсуждают. Обрадовался Родька. Оглянулся, сердце замерло. Погоня совсем близехонько. Бросил Родька дочку султанову и к своим побег.

— Братцы, — кричит, — братцы! Помогите!

Да где там! Не слышны казачкам крики Родьки, Подоспела погоня. Схватили Родьку, связали и бросили поперек седла, как мешок. Вот она, беда. Вот оно, горе-горькое. Казнят теперь Родьку, лишат его молодой жизни. Плачет Родька, слезами умывается. О себе горюет.

Предстал Родька опять перед султановыми очами. Глядь, вводят Айлюк. Говорит султан:

— Казачка не трожьте. Не его вина, что в бега вдарился. А вот дочь моя виноватая.

Бровью повел.

Сорвал палач одежды с Айлюк. И стал ее тело белое истязать: кнутом бить, огнем жечь.

Отвернулся казак. Не в силах смотреть.

— Смотри, казачок, смотри. Впредь неповадно будет бегать — говорит Махмет.

Султанская дочь ни звука не проронила, ни охов, ни вздохов от нее не слышали. Впала в беспамятство. Утащил ее палач. А Родьку в тигулевку увели.

Сидит Родька в тигулевке, совесть его мучает. Душа томится: нехорошо получилось. Бросил султанскую дочь на растерзание. На произвол судьбы.

Много времени прошло. Пришла к Родьке записка от султанской дочки, мол, де, жди полночи.

Обрадовался Родька, знать, простила. В полночь дверь открылась. Айлюк на пороге. Кинулся Родька к ней, прощения просит. Султанская дочь к нему ластится, об том, мол, и думать позабыла.

Вышли они из тигулевки. Вскочили на коней — и в путь. Утро наступило. Говорит султанская дочь:

— Припади к земле, нет ли погони.

Слез Родька, припал к земле. Дрожит земля-матушка. Птицы кричат. Звери рычат.

Вытащила Айлюк платок и бросила через левое плечо.

Разлилось позади озеро. Волны огромные по нему ходят, о берег бьют, не подступишься.

Ударили Родька да султанская дочь в шенкеля. И поскакали дальше.

Запалили коней. Бросили, бегом побежали. Вот и стан казачий. Видно, как люди около костров гурбятя, обед себе, видно, варят. Обрадовался Родька. Хоть на этот раз уйдет. Оглянулся, батюшки мои! А погоня совсем рядом.

Забыл Родька обо всем на свете. Одна мысль — до своих добежать. Бросил султанскую дочь. И к своим.

— Братцы! — кричит. — Братцы! Выручайте!

Да где там! Не слышны казачкам родькины призывы. Схватили Родьку, связали и обратно к султану доставили.

И опять та ж картина повторилась. Истязали Айлюк до умопомрачения. Крепился казак, однако ж, изнылась его душа.

— Не надумал еще, казак, во услужение ко мне иттить? — спрашивает султан.

— Нет, не бывать тому, — отвечает казак.

— Ну, что ж, — говорит Махмет, — пришло время твою жизнь забрать.

Посадили Родьку в тигулевку. Не находит себе места он, султанская дочь из головы не идет. В кратких снах является, как бы совесть его. Тянет к нему руки, плачет.

Вдруг в полночь дверь отворяется. Айлюк его к себе манит.

Встал казак, понурясь, вышел из тигулевки. Спит стража. И конь стоит. Говорит ему султанская дочь. А лицо строгое, не улыбочивое.

— Вот тебе, казак, конь, возвертайся к своим один.

— Нет, — отвечает Родька, — без тебя не могу. Не будет мне дороги без тебя в этой жизни. Если можешь, прости и поедем вместе.

Смотрит на Родьку султанская дочь. То укоризна в глазах, то любовь.

Эх, что тут думать! Вскочил Родька на коня. Подхватил султанскую дочь. И айда — к своим. Припала к нему Айлюк. Доверие заимела.

— Хорошо мне, — говорит. — Никогда так в жизни не было.

— Погодь, — отвечает Родька, — вот к своим доберемся. То ли еще будет.

Далече отъехали. Пал их конь. Пошли они пешки. За руки взявшись. Чу, погоня опять.

— Сделай что-нибудь, — просит Родька. — Сотвори преграду какую-нибудь.

— Не могу, — отвечает Айлюк. — Нет боле у меня ничего такого, чтоб чудо сотворить.

Видит Родька, никак стан казачий. Схватил Айлюк на руки и к своим побег.

— Братцы! Братцы! — кричит.

Услышали его казачки. Мигом на коней вскочили. Вот оно, избавление.

Обернулся Родька — и погоня, вот она, рядом.

Впереди султан на белом коне. Увидели турки, что казаки на выручку поспешают, наставили на беглецов ружья. Загородил собой Родька Айлюк. Стоит на земле твердо. Любовь ему уверенность придает.

Дали залп турки со всех ружей. Только неведома сила пули от Родьки отвела. Кому эта сила неведома, а кому ведома.

Сотворилось чудо — на Родьке ни единой царапины.

Обрадовался Родька, за себя гордый. Что сумел себя превозмочь. Тепло на душе, хорошо. Любовь таматко купается, плещется.

Обнял казак султанскую дочь, поцеловал. А тут казаки-станичники подоспели. С возвращением Родьку поздравляют, с молодой женой. Шутки шутят. Да не обидно Родьке, радостно.

Якуня и Матюша.

Ехал казак Якуня по дороге, песню напевал. Ехал свою судьбу на этом свете определять. Степь. Раздолье. На душе птицы поют. Видит: на перекрестке дуб стоит, над дубом мужик. Здоровенный такой. Из веревки петлю вяжет. Плачет. Рыдает. Толстую веревку, как паутинку, рвет. Подъехал Якуня ближе, с седла перевесился.

— Здорово, — говорит, — были. Иль в чем подмогнуть?

— Да вот, — отвечает мужик, — петлю не могу Навязать, веревка, видать, гнилая попалась.

— Этому горю подсобить можно, — говорит Якуня. — Тока я должен тебе сообщить: не веревка у тебя старая, а ручищи твои силы непомерной.

Взял веревку у мужика, завязал петлю.

— Ну что ж, — говорит, — никак, к звездам поближе собрался?

— Да, — отвечает мужик, — собрался. Собрался из этой жизни уйти, потому как не везет мне в ней совсем.

— Тю, — говорит Якуня. — А мне везет так, что от этого везенья в бега вдарился. Надоело. Неинтересно совсем. Скучно.

У мужика аж глаза на лоб. Первый раз в жизни человека видит, везучего во всем.

— Возьми, — говорит, — меня с собой. Что тебе, одному, поди, скучно.

— Мне, — говорит Якуня, — нескучно. А вот тебе невесело. Поедем, за товарища будешь.

И коня с места тронул. Конь враз так и пал. Поднялся Якуня с земли, посмотрел на издыхающего коня и говорит:

— Тебя как звать-то, величать?

Мужик отвечает:

— Матюша.

А сам глаза отводит.

— Говорил я тебе, невезучий я. И за веревку опять схватился.

— Ну ничего, — говорит Якуня, — друг ты мой, разлюбезный Матюша. Посмотрим, чья сила сильнее. Дюже мне это интересно узнать.

Стали они на распутье. Куда идти?

— Пойдем, — говорит Якуня, — направо. У меня душа туда тянет. И ноги сами идут.

Матюша спорить не стал. Пошли они. Идут-идут. Дорога в лес завела. Ничего, идут по лесу. А дорога уже тропочкой вьется. Якуня вперед идет. Матюша сзади и бухтит себе под нос:

— Ох, накликал я на тебя беду.

А Якуня ему в ответ:

— Ничего, все равно моя возьмет.

Вышли они на опушку. На опушке дом стоит. Не дом, а хоромы, резной весь, ну чисто дворец. А перед домом забор. Высоченный. Доска к доске пригнана.

— Я говорил тебе, мой друг Матюша, что я — человек везучий.

Ходили-ходили вокруг забора. Калитки нет.

— Может, — говорит Матюша, — пошли отседа подобру-поздорову. Здесь дело нечисто.

— Нет, — говорит Якуня, — не в моей привычке отступать.

Вынул шашечку, секанул по забору. Только щепочка отлетела. Секанул второй раз — еще щепочка.

А забор, как каменный, как стоял, так и стоит.

— погоди, — говорит Матюша.

И плечом навалился. Покраснел от натуги. Силища немалая. Хоть бы одна доска треклятая с места сдвинулась. Невезучий, словом, Матюша.

— Погодь, — говорит Якуня, — тут дурью не возьмешь, это дело обмозговать надо.

Вынул он кисет, свернул сигарку, запалил и плечом в задумчивости к доске самой узкой с сучком неотесанным притулился. Забор на две части и разошелся.

Друзья-товарищи — что тут думать! — бегом в дом. Якуня радуется — со мной не пропадешь! А Матюша хмурится, в себе еще не уверенный.

В дом зашли — ни души. Все красиво убрато. Зашли они в залу — стол, скатерочка на нем и больше ничего.

— Эх, — говорит Матюша, — хоть бы хлебушка кусочек да воды глоточек.

Глядь — на столе хлеба кусок да ковш воды стоит.

Якуня сообразил, что скатерочка непростая, и говорит:

— Это тебе хлеба кусочек да воды глоточек, а мне баранью ногу с чесноком, да блинцы с каймаком, да бражки-кислушки кадушку.

В один миг и Якунино желание исполнилось.

Поели они, попили. Хорошая скатерочка угощала на славу.

Дело к вечеру. Куда идти? Решили ночь переночевать. А там видно будет. Может, хозяева объявятся.

Говорит Якуня:

— Дело такое, куда повернется, не знаем. Давай попеременно спать. Ты ложись, я покада покараулю.

Завалился Матюша на пышные перины и тотчас захрапел. Притомился, видно, за день. Якуня ходил-ходил вокруг да около. Глаза слипаются. Да товарища совестно будить, до первых петухов еще далеко.

Прикорнул около кровати и не заметил, как его в сон склонило.

А на рассвете прилетело в дом чудище поганое Мисюрь на кошме-самолетке. Повел носом — русским духом пахнет. Подошел к кровати. А там Матюша сладко посапывает. Разъярился тут чудище, стал Матюшу душить, стал его давить, аж кости у Матюши затрещали.

Не разобрал Матюша спросонку, думал, что с ним кто-то балует, махнул рукой. Чудище с кровати кубарем слетел, и дух из него вон. Проснулся тут Якуня, вскочил, шашкой размахивает.

Видит: чудище лежит. Синий, как пуп. Смердные пузыри пускает. Приосанился Якуня, шашечку в ножны вложил. Подошел к кровати. А на кровати Матюша лежит, носом трели выделяет. Стал будить его Якуня.

Еле-еле растолкал. На чудище показывает.

Матюша аж затрясся весь, до чего напугался.

— Давай, — говорит, — мой друг Якуня, отсюда деру! А что, если этот чудище не один? У него еще братья имеются.

Якуня с ним не соглашается.

— Этот дом теперича наш. И бояться нечего. Я, — говорит, — везучий. Моя сила над твоей верховодит.

Вдруг слышат: кто-то плачет, то ли стонет под полом.

— Во, — говорит Матюша, — говорил я тебе, не доведет нас до добра твое везение.

— Ничего, — говорит Якуня, — семь бед — один ответ.

Шашечку острую вытащил.

— Открывай, — кричит, — люк, сейчас и этого определим.

Потянул Матюша за кольцо, крышку откинул.

— Выходи, — кричит Якуня, — кто там? И...

Выходит оттуда девушка. Красоты неописанной.

Как увидела Якуню с шашечкой, так и сомлела. На пол повалилася. Якуня мешкать не стал. Понял, что судьба его определилась. Шашечку востру в ножны. Девуцу на руки. И Матюше говорит:

— Прощай мой друг Матюша. Любил я тебя. А теперича так жизнь повертается, что пора нам расставаться.

Сел на кошму-самолетку.

— Прости, — говорит, — и прощай. Заждались меня в станице. Оставляю тебе скатерть-самобранку да дом в придачу.

С этими словами и улетел. Только его и видели.

Стоит Матюша. Глазами моргает. Ничего в толк не возьмет. Слова сказать не может, до того обидно.

— Эх, невезучий я человек, нет мне места на этом свете.

Вдруг слышит: зовет его кто-то. Поворачивается. Из подпола еще девица выходит, краше прежней.

— Помоги, — говорит, — мне выбраться, суженый мой, я тебя всю жизнь ждала.

А Матюша стоит столбом, ни жив, ни мертв. Счастью своему поверить не может. Это, думает, снится, такое в жизни не бывает. А девица тем временем подходит, в пояс кланяется.

— Иль не любя я тебе, Матюша, тогда сестрой буду названной.

— Люба, — говорит Матюша, — ой, до чего любя. Будь мне супружницей верной.

Взяли они скатерть-самобранку и из того дома поганого ушли.

Свадебку сыграли. И жили счастливо до глубокой старости. И Якуня со своей супругой тоже хорошую жизнь прожили.